

AP
**АЛЕКСАНДР
ПРОХАНОВ**



Война с Востока

Александр Проханов

Сон о Кабуле

«ИТРК»

Проханов А. А.

Сон о Кабуле / А. А. Проханов — «ИТРК»,

В старину ставили храмы на полях сражений в память о героях и мучениках, отдавших за Родину жизнь. На Куликовом, на Бородинском, на Прохоровском белеют воинские русские церкви. Эта книга – храм, поставленный во славу русским войскам, прошедшим Афганский поход, с воевавшим войну в Чечне. Я писал страницы и главы, как пишут фрески, где вместо святых и ангелов – офицеры и солдаты России, а вместо коней и нимбов – бэтээры, и танки, и кровавое зарево горящих Кабула и Грозного. Входит в сборник «Война с востока. Книга об афганском походе»

© Проханов А. А.

© ИТРК

Содержание

Часть первая	5
Глава первая	5
Глава вторая	21
Глава третья	25
Глава четвертая	30
Часть вторая	39
Глава пятая	39
Глава шестая	52
Глава седьмая	57
Глава восьмая	62
Глава девятая	67
Конец ознакомительного фрагмента.	69

Александр Проханов

Сон о Кабуле

Часть первая

Глава первая

Генерал внешней разведки в отставке Виктор Андреевич Белосельцев сидел среди зимнего солнца в московском домашнем кабинете. Смотрел на коллекцию бабочек, собранную им за годы поездок в джунгли, саванны и сельвы. Военные действия, бомбардировки, рейды диверсионных групп совершались среди несметного сонмища легкокрылых разноцветных существ, пропускавших сквозь себя пыльные колонны броневиков, утомленные цепи «командос», пикирующие вертолеты. Разведчик, охотник за знаниями, улучая мгновения, он становился охотником за крылатым восхитительным дивом. Выхватывал сачком из горячего африканского воздуха алую нимфалиду, слыша, как слабо шелестят ее крылья в прозрачной кисее. Мимо, по горчичной ядовитой пыли, проходил изможденный чернолицый отряд, и солдат-анголец с изумлением смотрел на ловца.

Отряды, с которыми он воевал в Америке, Африке, Азии, были давно разбиты. Операции, которые он разрабатывал, оказались бессмысленны. Режимы, которым он помогал, канули в вечность. Советская разведка вместе с огромной страной, казавшейся непобедимой и вечной, превратилась в пыль, в «бросовую агентуру», в гниющие остатки разложившихся бессильных структур, с которыми он не желал иметь дело. От великих доктрин и деяний, от прославленных армий и океанских флотов, от всесильной красной империи, которой он страстно служил, осталась огромная, во всю стену коллекция бабочек. Ряды застекленных коробок, в которых, как солдаты с тонкими остриями, маршировали бессчетные батальоны бабочек, каждая из которых была разноцветной страничкой его походного дневника. Тончайшими письменами на цветных чешуйках, среди серебристых прожилок, золотых и малиновых пятен были записаны боевые эпизоды, имена агентов, лица дипломатов и военных, многих из которых убили. Коллекция была огромной летописью прожитой жизни со множеством драгоценных узорных букв. Напоминала многоцветный лоскутный плащ, в который была укутана его жизнь.

Он смотрел на свое богатство. Останавливал зрачки на махаонах, сатирах, лунных сатурниях, и за каждой бабочкой открывался крохотный, расширяющийся ход в иное пространство и время. Он нырял в него, как в сказочный кипящий котел, погружал свое старое тело, выныривал молодым и свежим.

Он остановил свои бегающие, одурманенные чудесными зрелищами зрачки на песчано-серой, с острыми кромками нимфалиде, пойманной в южной Анголе, в партизанском лагере СВАПО. Второй экземпляр был наколот тут же, тыльной стороной наружу. Напоминал ритуальную маску бушменов, раскрашенную красными и синими глинами, соком зеленых растений, с наведенными белилами и пятнами угольной сажи. Серебристой металлической пудрой были нанесены магические знаки и символы. Орнамент крыльев был похож на татуировку воинов, которые с колчаном и стрелами, голые, на избитых ногах, выходили на обочины пыльных проселков. Смотрели трахомными глазами, как пробираются помятые джипы с солдатами, зенитная установка трясется в кузове пятнистой «тойоты», переваливается в колее уродливый, похожий на костяную черепаху броневик.

Он поймал этих бабочек в партизанском лагере, откуда уходили боевые группы в Намибию взрывать водоводы, ведущие к кимберлитовым трубкам, высоковольтные мачты, питающие кимберлитовые трубки. Расцветка и рисунок бабочки тайным образом воспроизводили песчаные цвета Калахари, подземное залегание руд, глубинные линзы воды. Бабочка была крохотным атласом Намибии, географической картой, нарисованной безымянным географом. Самолеты ЮАР, воюющие, в блеске винтов, «импалы» и «канберры», бомбили лагерь. Гремели взрывы, с хрустом валялись деревья, стреляли зенитки, кричал с оторванной рукой партизан. Белосельцев, падая в красный песок, видел, как в редких вершинах проносится штурмовик, сверкают стеклянно винты, трепещет огонек пулемета. Вблизи дымилась воронка, сочилась ядовитая химия взрыва. И на это зловонье, на отраву пироксилина, слетались бабочки. Пали в жаркую ямину, пропитанную дымом и смрадом. Пьянели от запахов, замирали, словно пронизывались радиацией, таинственным пьянящим наркозом. Белосельцев, слыша удаляющуюся стрельбу, склонился к воронке, к горячему дымному кратеру, из которого поднимались запахи древних земных составов, духи молодой горячей земли, сернистые испарения взрыва. Бабочки, сотворенные в первобытное время, в ранние дни творения, летели к воронкам, управляемые реликтовой памятью, вкушали сладость газов, воздух юной планеты. Он брал их руками, как крохотные, отлитые в тигле слитки.

Теперь в своем зимнем московском кабинете он смотрел на бабочку остекленелыми зрачками, запаянными в прозрачное остановившееся прошлое. Это галлюциногенное созерцание прекращало движение времени, прерывало неумолимый ход событий, увенчанных катастрофой, сделавшей бессмысленной его жизнь. Логика его поступков, бесчисленные разведывательные комбинации, неисчислимы траты были направлены на процветание Родины, на укрепление ее сил, становление могущества. На осмысленное служение великому и правому делу. Теперь же, после катастрофы, превратившей страну в руины, ее идеи и символы – в отребья, ее вождей и адептов – в жалкое скопище проигравших бездарей и бессовестных лихоимцев, все прежние его устремления, все повороты его судьбы и карьеры утратили смысл и вектор. Стали бессмысленным броуновским движением безвольной песчинки, толкаемой бесчисленными, не имеющими объяснения столкновениями. В созерцании бабочек он был готов провести все оставшиеся, уже немногие годы, заслоняясь этим витражом от гнусного, не принадлежащего ему бытия, в котором ему, пенсионеру разведки, гарантировано прозябание, скудный, позволяющий выжить паек и множество нескончаемых пыток, стоит включить телевизор и увидеть в стеклянной колбе, среди синего веселящего газа, личины палачей и мучителей.

Каждая коробка с плотно размещенными бабочками напоминала всесвятскую икону, где тесно, рядами, застыло строгое недвижимое толпище святых, пророков, крылатых ангелов, вечноценных воинов, толкователей божественных истин, мучеников за веру, благодатных устроителей храмов. Их долгополые одежды, разноцветные плащи, их доспехи и рясы, их крылья, короны и нимбы кидали в ее зрачки тончайшие цветные лучи. Его созерцание бабочек было безмолвной молитвой к Творцу, создавшему всякую тварь, сотворившему и разрушавшему царства, каравшему и награждавшему всякую душу. Душу его, Белосельцева. Бессловесно, не мыслью, а кристалликами глаз он вопрошал Творца, в чем его вина и ошибка. В чем его грех, повлекший за собой несчастья страны. Как, в служении чему надлежит провести последние недолгие дни, чтобы искупить этот грех. Но бабочки, укутавшись в плащи, облекшись в доспехи, молчали. Посылали в зрачок крохотные цветные лучи, словно в каждой, окруженной нимбом голове был помещен невидимый лазер, писал на сетчатке глаза неведомые письмена.

Он снова подвинул взгляд, пробегая среди драгоценных коробок, где каждая бабочка напоминала геральдику рыцарских родов и фамилий. Задержался на золотисто-медовой данаиде, с черным ожерельем пятен, с жемчужно-белой чередой похожих на капли вкраплений. И сладко, мучительно замер. От бабочки, от ее тонких пластин прянуло отражение минувших

дней. Он почувствовал лицом дуновение слабого ветра. Он поймал данаиду в Джелалабаде, среди кустов благоухающих роз, в свой первый приезд в Афганистан. Ветер, что коснулся его лица, был душистым воздухом, наполнявшим райский сад, в котором, как ангел, летала прозрачная бабочка. Это воспоминание породило мгновенную цепь зрелищ и лиц, из которых, как из бестелесных молекул памяти, воссоздался мир, где он, молодой разведчик, обретал драгоценное знание. О Востоке. О войне. О смерти. О таинстве любви. О вероломстве. О бесценном загадочном даре, имя которому жизнь, куда на краткий миг, как в прозрачную пленку света, залетает из сумрака человечья душа. Пребывает в страстях, усладах и муках. Не успевает понять этот светлый дар, перед тем как вернуться во тьму.

Ему, изнуренному, ослабевшему во всех костях и суставах, с погасшим зрением, с омертвлением чувств, вдруг захотелось, пусть перед смертью, на одно лишь мгновение, оказаться в том сухом, солнечно-желтом пространстве, под синевой азиатского неба. Пройти вдоль белевой глинобитной стены, по которой скользит его легкая тень. Вдохнуть сладкий дым горящей душистой сосны. Увидеть над дувалом висящую деревянную клетку с малой лазурной птичкой. Проследить скольжение шелковой паранджи, под которой вьется недоступное прелестное тело, мелькает маленькая смуглая пятка. На краю кишлака, где течет стеклянно-зеленый арык, увидеть вечерние горы, розовые, с голубым ледником. Горы Центральной Азии, от которых откатилась разгромленная империя русских.

Он смотрел на бабочку, на ее хрупкие песчано-желтые лепестки. Они сближались, как тончайшие клеммы, готовые замкнуть распавшееся время, вернуть ему звуки, цвета и запахи. Он чувствовал приближение бесшумной, набегавшей из прошлого волны, которая в момент, когда клеммы замкнулись, разразилась громким звонком телефона.

Он слушал настойчивый, неумолкавший звонок, страхась подойти, надеясь, что волна, вызванная его колдовством, отхлынет обратно в океан несуществующего прошлого, не брызнет ему в лицо. Но звонок грохотал, прошлое просачивалось в его одинокий дом сквозь ветхие оконные рамы, в щели дверей, в малую скважину, чуть прикрытую бабочкой. Одолевая предчувствия, он потянулся к трубке.

– Виктор Андреевич, друг ситный, живой аль нет?... Это твой закадычный!.. Чичагов!.. – Предчувствия его оправдались. Из прошлого – из гончарного Кабула, из бирюзового Джелалабада, из зелено-изразцового Герата, из красного Гордеза возник этот голос. Генерал Чичагов, действующий начальник разведки, с кем познакомились двадцать лет назад в февральских снегопадах Кабула, сквозь которые по Майванду мчалась машина, и зеленый минарет Пули-Хишти напоминал огромный чешуйчатый хвощ, – звонил Сергей Степанович Чичагов, материализованный его колдовскою мыслью.

– Не разбудил?... А то у пенсионеров, я знаю, первое дело после обеда на диванчик прилечь!

– Да нет, дневная бессонница...

– Знаешь, сижу сейчас в своей дребедени. И вдруг, понимаешь, мысль о тебе. О том, как мы с тобой куролесили. И тогда, в первый раз, во время хозарейского бунта, и позже, во время Панджшера, и во время операции «Магистраль», когда из-за тебя нас едва не прихлопнули... Думаю, дай позвоню. Дай проведаю старого друга!..

– Спасибо за звонок...

– Слушай, у меня есть прекрасная, вкуснейшая бутылка бордо!.. Прямо из Франции... Что, если я к тебе сейчас прикачу, посмотрю на твои благородные морщины, свои покажу, и мы, как два старых товарища, как два линиялых камышовых ката, как два хрыча, наконец, разопьем бутылочку красного?...

– Прямо сейчас? – испугался Белосельцев, понимая, что в этом натиске бушует, надвигается вызванная из прошлого волна и она не сулит ему благоденствия, а неведомую угрозу. – У меня не убрано, хаос...

– Что, я холостяцких домов не видал?... Приберись, приготовь стаканы...

– Право, не знаю...

– Еду!.. – Короткий зуммер. Золотистая данаида в коллекции. Холодок опасности в самом центре его испугавшегося сердца.

Белосельцев неохотно, с раздражением убирался в квартире. Комкал, зашвыривал в шкаф разбросанную одежду. Запихивал на полки и в ящики недочитанные, забытые по углам книги. Сметал в совок скопившуюся на полу мохнатую пыль. Мыл на кухне винные рюмки. Готовил для кофе чашки. И думал с недоумением, с нарастающим раздражением, зачем он был потревожен в его одиночестве, в разноцветном тумане, сквозь который, как сквозь сладостно-ядовитый дым кальяна, пролетали бесшумные образы прожитой жизни.

Чичагов был мастер многоходовых комбинаций, в которые сложно, не ведая о замысле, вовлекались люди, совершая на разных отрезках интеллектуальной траектории каждый свое действие, затем исчезая, иногда бесследно. Лишь в последний момент в эту прихотливую извилистую линию вставлялся Чичаговым недостающий малый отрезок, замыкавший ее на конечный результат. Этой виртуозной способностью он пользовался в Афганистане, стравливая между собой мятежные племена, ссорил воинственных алчных вождей, сталкивал пуштунов с белуджами, таджиков с хазарейцами, добиваясь ослабления противника, по которому затем наносились удары правительственных войск. Слишком поздно недалекие главари моджахедов догадывались о лукавстве, когда над их головами проносились пятнистые эскадрильи вертолетов, разносили в прах мятежные кишлаки, потаенные горные базы.

Из нескольких белых яиц, отложенных в диссидентских кухнях, с невероятной скоростью размножились прожорливые черно-блестящие муравьи. Населили квартиры артистов, газетчиков, карьерных дипломатов и властных чиновников. В одночасье источили страну, казавшуюся стальной, превратили ее в трухлявый дырчатый пень. Перед зданием госбезопасности в лучах ночного прожектора накинута стальную петлю на шею чугунного тулова. Дзержинский закачался, как висельник, под стрелой японского крана. Множество офицеров разведки, наделенные штатным оружием, бронетехникой, спецчастями, молча глотали свой позор. В гранитное здание, управлявшее половиной земли, явился хлыщ, заявивший оперативному составу, что он видит свою роль в разрушении советской разведки и останется здесь до предельного ее ослабления. Тогда Белосельцев, вместе с группой генералов, добровольно ушел в отставку, не желая служить мерзавцам. Другая часть перекинулась на работу к банкирам, создавая им службу разведки, безопасности и подрывных операций. Чичагов остался в строю, послушный новым властям. Он был лучше тех, что ушли к банкирам. Ничем не запятнал себя в кровавые дни октября. Но был нелюбим Белосельцевым, который одичал и замкнулся, порвал все прежние связи, подолгу жил в деревне, высаживая на грядках цветы. Теперь настойчивый визитер вызывал у него неприязнь. Работая веником, сметая в совок черепки разбитой недавно чашки, Белосельцев готовил Чичагову несколько язвительных фраз. Продолжал тайно тревожиться по поводу причины визита.

Чичагов явился с мороза шумный, говорливый, с длинным покрасневшим носом, желтыми залысинами, редкими бесцветными волосами, которые он по привычке процеживал сквозь гребешок. Первые секунды своего появления, покуда раздевался в прихожей, шмыгал в платок, заглядывал в зеркало, он потратил на то, чтобы побольше наболтать, набормотать, налепетать незначительное, веселое, бестолковое, желая скрыть за этой мишурой зоркую настороженность, пытливую чуткость, чтобы исследовать, в каком состоянии пребывает хозяин, понять, насколько достижима поставленная им задача.

– Так что вот, как говорится, старый друг лучше новых двух!.. И я, понимаешь, свое брэнное тело, и все такое, чтобы навестить опального товарища, Меньшикова в Березове!.. Ну и, конечно, так, ради собственного, как говорят, удовольствия, чтобы рюмочку бордо пропустить!.. – он передал Белосельцеву пакет с бутылкой и нарезанной, проперченной, смугло-

красной бастурмой. Через несколько минут они сидели в кабинете среди янтарных солнечных пятен, мерцающих бабочек, держали рюмки, полные густого, почти черного, с рубиновыми искрами вина, и Чичагов говорил:

– Ну что, дружище, все теснее наш круг!.. Все меньше людей, к кому можно вот так прийти и знать, что будешь понят с первого слова!.. За те времена, когда мы встречались в твоём кабульском номере, и в посольской мраморной гостиной, и в офицерском модуле в Кандагаре, и в штабной палатке в Шинданте, и где только мы не встречались!.. За нас, дружище!..

Вино было чудесное, вязуще-густое, терпкое. Губы, еще не прижимаясь к стеклу, чувствовали легчайшее жжение, словно их касалось незримое пламя. Белосельцев видел, как уменьшается вино в хрустальной рюмке Чичагова и поверх стеклянной кромки смотрят на него немигающие острые глаза, будто в каждый закатили блестящую дробинку. Ждал, когда эти дробинки вылетят и ударят.

– Как в конторе? – спросил Белосельцев, удивляясь вялости и формальности вопроса, который на самом деле не интересовал его. Он уже не чувствовал себя членом разведывательного сообщества, не чувствовал себя посвященным. Монашеский орден распался. Выродился в департамент бездельных малооплачиваемых чиновников, которые были не нужны государству, имитировали деятельность. Обрубив с ними связь, он испытывал драгоценность своего одиночества. Дал обет молчания, обет послушания, обрекавшего на отдельность и несвязанность с миром, когда становится возможным долгожданное общение с Тем, кто незримо управлял его жизнью, берег под пулями, спасал от крушений. Теперь, когда страсти покинули его изнуренное тело, он хотел проверить свою яркую, огромную жизнь, проведенную среди сражающихся континентов, – проверить ее заповедями священных текстов – Библии, Корана, Дхаммапады, Авесты, которые терпеливо, долгие годы, смотрели на него с книжной полки. Завтра он уедет в деревню и там, в последних снегопадах, подкладывая в печь тяжелые смоляные поленья, будет читать и думать. – Так что, бишь, в конторе творится?

– Сам знаешь, бессмыслица... Спецы, вроде тебя, ушли. Новички без царя в голове, не знают, кому служить, за что служить... Реорганизация за реорганизацией... Американцы и евреи лезут во все щели... Пропади оно все пропадом...

– Зачем же служишь? – Белосельцев почувствовал, что лицо его помимо воли обрело едкое, почти брезгливое выражение. Заслонился рюмкой, не желая, чтобы Чичагов его рассмотрел. Делал вид, что играет рубиновой искрой в вине.

– Но ведь кто-то должен отстаивать интересы матушки-России... Кто-то должен следить, чтобы последнее не растащили...

Чичагов производил впечатление теплого и мягкого снаружи. Это была теплота и мягкость неостывшего пепла, какой бывает на недогоревшем полене. Дунь на него – и полетит серый рыхлый сор, запорошит глаза, испачкает лицо и руки. Но под этим пеплом чувствовались негоревшая сердцевина, глубинные твердые сучки, окаменелые волокна. В Чичагове еще оставался крепкий внутренний материал, способный превратиться в жар, в слепящий огонь. И эту способность Белосельцев воспринимал как опасность. В лысеющей редковолосой голове Чичагова зрели замыслы, и в этих замыслах было отведено место ему, Белосельцеву, пока неизвестно какое.

– Я вот все думаю: конечно, многих Афганистан погубил, но многих и возвысил. Пусть «афганцев» между собой перессорили, даже в девяносто третьем заставили пострелять друг друга, а все-таки существует «афганское братство». Если подопрет, можно пойти к «афганцу», сказать: «Давай, шурави, помоги!» И поможет... Я тут недавно в Думу ходил, к Ивлеву. Об одном личном деле просил. Вроде по разные стороны баррикад, я – власть, он – оппозиция, лидер протеста, а все равно помог. Помнит, как мы его полку под Кундузом коридор проби-вали. Вот оно и есть «афганское братство».

Чичагов умел маскировать свои замыслы. Свою основную мысль, основное, не случайно произносимое имя он окружал множеством сорных слов и имен. Так ракета кидает на город противника смертельную боеголовку, окружая ее множеством ложных целей, помещая в мусорное облако металлической фольги и обрезков. Радары врага слепнут от множества мерцающих вспышек, и город беззащитен, на его крыши из космоса летит, окруженная мерцающей пылью, звезда Полюнь.

Белосельцев не знал, случайно ли в разговоре Чичагова возникло имя генерала Ивлева, «афганца» и «чеченца», сделавшего вдруг ослепительную карьеру политика. Среди ординарных, утомивших народ оппозиционеров он, не принадлежавший движениям и партиям, любимец армии, стал главной угрозой режиму. Мог увлечь войска за собой. Не позволил бы им повторить трагедию девяносто третьего года, когда армия, без вождей, управляемая проходцами, не веря оппозиции, стреляла из танков по горящему Дому Советов. Ивлева боялись в Кремле. Видели в нем возможного мятежника и путчиста. Белосельцев старался понять, было ли произнесенное Чичаговым имя случайным, или опорным, – летело по баллистической кривой, вписанное в траекторию удара. Вспоминал гарнизон под Кундузом, врытый в землю контейнер трейлера, в котором содержались пленные, и они втроем – Белосельцев, Чичагов и командир полка Ивлев – допрашивают чернобородого, в красной повязке афганца, шевелившего разбитыми в кровь губами, рассказывающего о расположении «безоткаток» и минных полей.

Но Чичагов больше не говорил об Ивлеве. Перескочил на другое, оживленно рассказывал:

– Все-таки иногда, дружище, мы слишком с тобой угрюмы, пессимистичны и, в сущности, старомодны. А ведь жизнь не кончается, она состоит не только из дерьма и трухи. В ней есть и сильные, положительные моменты. Иногда среди этого развала и свинства встречаешь сильных, новых людей! Не просто богачей, которые наворовали и теперь не знают, что с этим делать. А русских купцов и промышленников, в которых, сам не знаю откуда, появляются русские начала, русские заботы, русские интересы. Значит, не все захватили евреи! Есть еще у матушки России сыны!

– Кого имеешь в виду? – Белосельцев все еще не мог понять, в чем замысел Чичагова. С какой точки начинается прихотливая линия его интриги. Среди множества впустую нанесенных метин нельзя было выбрать ту, от которой повлечется извилистая кривая его интеллектуальной затеи. Поиском этой истинной точки, среди множества мнимых, был занят ум Белосельцева. Этот начавшийся поиск увлекал его помимо воли, был игрой, с помощью которой Чичагов захватывал его в свои невесомые тенета. Невидимые, они уже висели повсюду в его кабинете. Он чувствовал себя бабочкой, к которой приближается прозрачный белый сачок, наполненный душистым ветром и солнцем, с пестрыми крапинками засохшего цветочного сока и умертвленных, пойманных прежде существ. – Где ты нашел среди воров и еврейских банкиров настоящих русских купцов?

– Ну, конечно, ты не можешь поверить! Сидишь, как медведь в берлоге! А ведь за это время жизнь не осталась на месте. Разумеется, есть помойки, свалки отбросов, на которых кормятся многие наши прежние товарищи. Но есть и абсолютно новые явления, неизвестные тебе области, в которых, я бы считал, полезно тебе побывать, чтобы уж совсем не свихнуться! Например, абсолютно новый театр. Виктюк, его эротические музыкальные действия! Пусть он педераст, но очень, очень талантливый!

– Твои русские купцы – педерасты? – Белосельцев не стал заслонять рюмкой свою брезгливую улыбку. – Очень, очень талантливые русские купцы?

Чичагов добродушно рассмеялся над своей оплошностью:

– Да нет же, это молодые самарские парни, из спортсменов. В Советском Союзе – разные там рекордсмены и мастера. Потом, когда все развалилось, пошли в охранные структуры, к

бизнесменам, которые воровали бесхозное добро государства. Стреляют от живота и в глаз. Я думаю, после их работы, по весне, из-под снега много кого откапывали. Потом, похоже, как показывают в голливудских фильмах, они своих охраняемых уколошили и стали хозяевами. Грабили по-черному, кровушку лили, как пиво. Остепенились, нажитое вложили не в банки, а в производство, кто в нефть, кто в торговлю, кто в шоу-бизнес. Поставили церковь, другую. Батюшка их окормляет, «разбойников благоразумных». Выучили языки. Ездят за границу не жизнь прожигать, а ума-разума набираться. Разглядели, что в России творится, как их матушки в деревнях живут, жмых жуют. Поняли в один прекрасный момент, что они русские люди, и в отличие от евреев жить будут здесь, а не на берегу Генисаретского озера. И вот мы видим новый тип. Не коммунисты, но патриоты. Капиталисты, но ненавидят Америку. От сохи, но заботятся о сохранении русского ракетно-космического комплекса. Вот такие ребята. Теперь они в Москве возглавляют крупные фирмы.

Азарт, с каким Чичагов исполнил этюд о самарских парнях, убедил Белосельцева, что истинная точка обнаружена. Быть может, он не разглядел поставленные прежде отметины, но эту он зафиксировал. От нее он может начать отсчет. Повести осторожную линию через вторую обнаруженную точку. И чем больше их будет вскрыто, тем точнее выпишет он траекторию интеллектуальной интриги, которую задумал Чичагов. Ибо в этой долгоносой голове с желтыми восковыми залысинами постоянно, как в чреве паука, вырабатывается интрига. Опутывает людей, провисает едва заметной стрункой от дома к дому, от окна к окну. И многие уже залетели в неслышную, неразличимую для глаз кисею. Теперь залетает и он, Белосельцев. Ему было неприятно. Он презирал Чичагова, неутомимого интригана, не умевшего остановиться, не способного оборвать вырабатываемую его головой паутину. Именно эта болезненная, необоримая страсть оставила его в разведке, сделала слугой режима. Но если бы этого не случилось, если бы он ушел, повторив судьбу Белосельцева, реактор, расположенный в его голове, вырабатывающий нить, продолжал бы работать. Переполнил его мозг волокнами комбинаций, и он задохнулся бы от собственной паутины.

– Так что твои патриоты-разбойники? – небрежно спросил Белосельцев, увлеченный началом контрразведывательной игры, которая тоже была патологией профессионально ориентированного ума, не умевшего по прошествии лет освободиться от вмененных ему установок.

– Ты можешь расхохотаться. Можешь погнать меня вон. Но прошу, собери в себе остатки воображения и творческого любопытства, коими ты всегда отличался в управлении, и внемли моей просьбе!

Это был упрощенный прием – прямая лесть и имитация искренней беззащитной наивности, которые должны были вовлечь Белосельцева в замысел. И этот упрощенный прием сработал. Белосельцев с удивлением почувствовал интерес – не к самарским парням, а к тому, что является замыслом. Уже несколько точек стояло на графике среди множества ложных отметок. Линия, которую он выводил, напоминала медленную экспоненту, неутомимо, как нарастание болезни, взбирающуюся вверх.

– Эти сердобольные самаритяне, иначе не могу их назвать, – Чичагов продолжал шутить, забалтывая какое-то глубинное содержание, недоступное Белосельцеву, – в своем экономическом росте эти стервцы поднялись до того, что стали контролировать, ну не прямо, а косвенно, ряд направлений, связанных с космосом и ядерными технологиями. Что-то про центрифуги, про обогащение, про двигатели, уж не знаю, что точно... Ты слышал, в каком состоянии находится все это хозяйство. Безденежье, остановка заводов, народ разбегается, американцы скупают акции, банкротят, свертывают производство. И там, где делали боевые лазеры, стали выпускать елочные игрушки. А там, где лепили плутониевые полушария, там клеят дамские прокладки...

Белосельцев вдруг потерял к разговору интерес. Словно отвел от добычи оптический прицел, и олень, подпрыгивая, мелькая белыми ляжками, унесся и исчез в деревьях. И можно

стоять, прижавшись к сырому стволу, слушать, как шелестят капли в редкой желтой листве, и чудесный холодный запах осени, и оранжевые плоды бересклета, и палая листва под ногами, и в блестящих ветках скользнула мокрая бесшумная птица. Он уедет в деревню и там, натопив жарко печь, раскроет божественные тексты и прочтет про ослияту, на которой Христос въехал в священный Град.

– Эти парни, как бы это поточнее сказать, видя, как цереушники и моссадовцы прихлопывают окончательно стратегическое производство России, решили передать часть технологий Ирану. Ну конечно, не за красивые глаза, а за деньги, и весьма немалые. Из побуждений конечно же меркантильных, но и одновременно патриотических. На полученные от иранцев деньги они поддержат производство, подкормят научные исследования, отгеснят Сороса, хотя бы на год продлят жизнь заводов и институтов. Конечно, это, если угодно, криминал. Выдача государственной тайны. Почти что измена Родине. А разве не криминал, не выдача тайны, когда цереушников допускают в секретные центры, открывают такие сейфы, куда даже мы с тобой не заглядывали. Разве это не предательство, не измена?...

Белосельцев перестал следить, выпустил из внимания график. Точки рассыпались, как семена из перезревшей цветочной головки, упали на влажную грядку, и теперь нужно терпеливо ждать осень и зиму, когда растает снег, потянутся из грядки свежие зеленые ростки, он станет их беречь, спасать от дикой травы, дожидаясь, когда вспыхнет гроздь садовых ромашек, и тогда ходить, огибая полную жестяную бочку, шлепать по мокрой дорожке, любуясь на цветы, и ночью сквозь сон думать – там на грядке ромашки, милые. Он завтра же уедет в деревню, чтобы в одиночестве, без утомительных, его не затрагивающих глупостей, понять, наконец, чем был дар, который вручил ему при рождении Творец, как он с ним обошелся, как, в каком виде вернет и положит к ногам Творца.

– Я с ними знаком, настоящие русские парни. Если угодно, наше будущее. Среди всеобщей апатии и свинстве – это сгусток энергии, воли. Русские пассионарии, если хочешь. Слушай, Виктор Андреевич, помоги им! Посмотри опытным взглядом, так ли они всем занимаются. Ну их связи с иранцами, третьи страны, посредники. Они там чуть ли ни «Хесбаллу» подключили, по Бейруту при белом свете разгуливают. Оформление документации, соблюдение формальностей, выбор контактов – все это у них в беспорядке. Нет специалиста по Востоку. Помоги добрым людям. Конечно, не безвозмездно, не за спасибо. Они наградят, заплатят, а то на нашу-то пенсию не больно икорки поешь. Я им о тебе говорил. Помоги парням чисто сработать, чтоб не наследили. Чтобы не вышел у них «русский ирангейт»!..

Это словосочетание возвратило его в реальность. Будто к нему, уходящему, протянулись две длинные руки и вернули обратно к месту, от которого он стал удаляться. «Русский ирангейт», – повторял он, закрепляя эти слова на графике, как еще одну уловленную жирную точку. Старался восстановить утерянную линию, провести ее через утраченные координаты. – «Русский ирангейт»!

– У меня есть к тебе немедленное предложение. Через час у иранцев прием. Сняли «Президент-отель», будет много всякой публики. Хорошая еда, разумеется, без алкоголя. Будут пассионарии самарские. Я обещал, что тебя привезу, познакомлю. Поедем! Я бы и сам этим всем занялся, но мне, действующему, не с руки. Давай подключайся, помоги русскому делу!..

Там, куда его звал Чичагов, была яма, накрытая легкими прутьями, присыпанная разноцветными листьями, обложенная мхами, с посаженным умелой рукой красноголовым грибом. Но под всем этим была черная глубокая яма, и со дна ее торчал белый отточенный кол. Белосельцев грудью, сердцем ощутил его острие, входящее в легкую пенистую мякоть его пронзенных розовых легких. Он должен был отказаться, отшутиться, свести разговор к пустякам. Разлить по рюмкам остатки вина и, лениво потягивая бордо сквозь почерневшие от винограда зубы, дать понять Чичагову, чтобы тот поскорее ушел. Здесь ему нечего делать. Здесь, в этом маленьком кабинете, увешанном бабочками, заставленном старыми книгами, живет не развед-

чик, а одинокий мыслитель, чьи последние силы направлены на постижение священных текстов, на постижение звезд, снегопадов, первых цветов, всего, к чему десятилетиями стремились душа.

Черные точки графика были как малые икринки, отложенные невидимой проскользнувшей рыбиной. В каждой таился малек, таилась возможность будущего. Из каждой точки, как из зародыша мироздания, вырывались бесчисленные возможности будущего, включающие в себя конец света. В его власти было выбрать одну из них. Или передавить их все. Умертвить все линии жизни, кроме той, по которой он уже совершает движение. И понимая все это, поражаясь своей слабости, неспособности одолеть искушение, невозможности избежать гибели, он согласился.

– Едем, – сказал Белосельцев. – Посмотрим твоих ребят.

У подъезда ждала машина Чичагова, черная, похожая на дельфина, с фиолетовой сигнальной колбой, с крепким, затянутым в кожу шофером.

– В «Президент-отель»! – скомандовал Чичагов, и машина скользнула в поток, разбрасывая вокруг гневные вспышки, заметалась среди глазированных мельканий. Белосельцев испытывал чувство, будто его извлекли из одной, облюбованной, обжитой ячейки, где он уютно и дремотно существовал долгие годы. Поместили в другую – в бархатный мягкий салон машины с запахами лаков, одеколона и табака, разноцветных, красиво разбросанных циферблатов. Мчат в загадочном направлении по вечерней, едва узнаваемой Москве, среди нарядных фасадов, серебристых снегов, начинавших светиться реклам, чтобы заключить в новую, уготованную ему Чичаговым ячейку. Словно он был чьей-то собственностью, муравьиной или пчелиной личинкой, взращивался кем-то для неясной задачи.

Тверской бульвар был в розовых деревьях, льдистых снегах и черных чугунных решетках, скользнул за окном длинно и трогательно своей красотой. Арбатская площадь напоминала белый мраморный зал, великолепный, с хрустальными люстрами, черным взиравшим Гоголем, у которого на голове был берет из снега. Кремль с розовой башней и нежной заиндевелой стеной вызвал в сердце привычное с детства тепло, словно кто-то невидимый прижался к груди губами и медленно, мягко выдохнул. Полет по мосту вдоль «Ударника», по отлогой дуге, был связан с потерей веса, и это было похоже на секундное счастье, когда главы соборов, как золотые острые почки, готовы были раскрыть в морозном небе золотую листву. Якиманка, вся в торопливых огнях, с далекой, еще невидимой церковью Иоанна Воина, породила забытое веселье, не связанное с обликом города, а с Кустодиевым, с румяными небесами, медными самоварами, дородными пышными купчихами, в испарине после калачей и обильных чаепитий. И все это кончилось, когда машина встала перед огромным отелем, неудобным, похожим на слоистую гору, вернувшим Белосельцеву настроенное ожидание.

У входа толпились автомобили с тяжелыми сытыми задами, зеркальными затемненными стеклами, из которых поднимались надменные, с властными лицами дипломаты, нарядные, в галунах и эполетах военные, великолепные, в мехах и вечерних платьях дамы, оказавшиеся вдруг на морозе, – длинная голая шея, лак прически, крохотный, в мочке уха, бриллиант.

– Возьми вот пригласительный, – Чичагов протянул ему зеленую, мусульманского цвета карту. Они предъявили ее, оказались в просторном холле.

Едва ступив на широкую мраморную лестницу, окруженный вышагивающими, исполненными достоинства людьми, ароматами духов, дорогих Табаков, рокотом сдержанных голосов, приглушенным смехом, ловя на себе молниеносные пытливые взгляды именитых гостей, Белосельцев оказался в знакомой атмосфере дипломатических раутов, где каждый наблюдает за каждым, каждый дружелюбен к другому, у каждого для другого заготовлено слово или шутка, за которыми прячется деликатное дело, глубинный интерес, хорошо укрытая корысть.

У входа в банкетный зал стоял посол, сутулый, тучный перс с длинными влажными глазами, горбатым носом и мягкой улыбкой. Принимал поздравления, отпускал гостя к стоящему рядом военному атташе в орденах, позументах, любезно, в улыбке, показывающему из-под усов белоснежные зубы.

– Поздравляю вас, господин посол, с Днем национального праздника. Желаю великому иранскому народу благоденствия и мира, – эти слова Белосельцев произнес на фарси. Почувствовал, как крепче сжалась теплая бархатная рука посла и в миндалевидных глазах возник мгновенный живой интерес к незнакомцу, владеющему персидским языком.

Чичагов влился в зал, мгновенно растворился среди пиджаков и мундиров, мужских усов и женских причесок, и его длинноногая лысеющая голова временами появлялась у длинных столов с закусками, у мангалов, где дымилось на спиртовках смуглое мясо, среди высоких кувшинов, в которых были налиты алые и золотистые напитки. Белосельцев, держа в руках фужер с гранатовым соком, отпивал маленькие горько-сладкие глотки. Рассматривал мерное движение лиц, жующих ртов, дамских драгоценностей и офицерских наград, растекавшихся в медлительных течениях, в которых перемещались не просто люди, а двигались и сталкивались интересы, информационные потоки, заговоры и интриги. Складывались особые, на несколько часов отношения, сплетавшиеся в сложный клубок симпатий, вражды, подозрительности и обмана, среди которых достигалось множество невидимых целей.

Невидимые, неузнаваемые, закамуфлированные улыбками, услужливыми жестами, безукоризненными костюмами и модными галстуками, сновали разведчики. Угадывали друг друга по неуловимым признакам, манере держаться, повязывать галстук, слушать собеседника, мгновенно, боковым зрением оглядывать зал. Их сообщество состояло из иранцев, русских, арабов, европейцев, с вкраплениями ЦРУ и МОС-САДа, которые скрывались под личиной бизнесменов, художников и священников. Все они вкрадчиво выведывали, выпрашивали, незримо вербовали, неслышно сдавали, склеивали крошки информации, невзначай роняли крупички дезинформации. Касались друг друга локтями, незаметно помечали, оставляя на пиджаках едва различимые метины, по которым их можно было опознать. Особым детектором, чувствительным к этим метам, обнаруживал их Белосельцев. Чувствовал, что и его, выпавшего несколько лет назад из сообщества, узнают. Осматривают молниеносно, словно снимают мерку для костюма или для гроба. Передают весть о его присутствии.

– Виктор Андреевич, сколько лет, сколько зим! А кто-то говорил, что болеете! – К нему подошел верткий, бритый наголо, бородавчатый человек, в котором Белосельцев признал эксперта по вопросам Афганистана, ученого одного из академических институтов. В свое время он участвовал в разработке ситуационных анализов на последних отрезках афганской войны, встречался с Белосельцевым в Кабуле и в Женеве. Потом он изменил свою точку зрения. Его статьи, трактовавшие афганскую войну как ошибку и преступление, попадались в прессе. – Я всегда говорил, что мы действовали в Афганистане исходя из фактора Иранской революции. Мы не должны были допустить нечто подобное в Афганистане. Помните, в Кабуле, во время путча, нам показывали листовку: «Начинаем исламскую революцию Афганистана». Разве мы не должны были реагировать?

Это был хитрый ученый червь, проникавший во все круги, проползавший сквозь все политические периоды, протачивающий в них дыры, оставляя после себя кучки ржавых испражнений. Белосельцев вежливо отвечал, ненавязчиво отделялся, наблюдая, как его лысый череп мелькает рядом с эполетами кувейтского военного атташе.

– Виктор Андреевич, вы меня узнаете? – Перед ним стоял высокий, с пепельными волосами и усталым морщинистым лицом мужчина. Щурился, сжимал складки лба, словно старался выдавить из состарившегося до неузнаваемости лица свое прежнее молодое выражение. – Бейрут... Мы привозили морем оружие...

Белосельцев узнал его. Встречались в торговом представительстве, куда приехал в тот день Арафат. Бейрут был наполнен палестинскими боевыми отрядами, на окраинах возводились рубежи обороны, последние советские транспорты прорвались сквозь эскорты американских эсминцев, израильские танки двигались с юга, и все уже чувствовали, что солнечный, прекрасный город, омываемый лазурным морем, скоро превратится в черные дымные огрызки, над которыми, пикируя, станут пролетать «миражи».

– Где вы сейчас? – спросил Белосельцев, пожимая руку старому знакомцу, чье имя так и не вспомнил.

– Так, с одной фирмой кручусь. Ни шатко, ни валко. Не то что в прежнее время, – они расстались, не желая ворошить это прошлое, невозвратное время, испытывая друг к другу симпатию, необъяснимую друг перед другом вину.

Особую популяцию составляли бизнесмены, как правило, молодые, крепкие, с уверенными жестами преуспевающих, свободных людей. Говорили по-английски, иранцы и русские, иногда слишком громко, демонстрируя свою независимость и преуспевание. Иран, закутав женщин в чадру, отдав управление в руки имамов, вымаливая каждый день у Аллаха благоденствия, жадно усваивал современные технологии, строил заводы и атомные станции, запускал ракеты и новые самолеты, рвался в цивилизацию, прокладывая в нее свой исламский путь, без наркотиков и проституток, с четками и сурами Корана. Среди этих подвижных, с дорогими часами и шелковыми галстуками людей Белосельцев высматривал того, самарского, с кем ему предстояло познакомиться.

Тут же, как и на всяких приемах, толклись случайные люди, «друзья страны», всякого рода литераторы, преподаватели, журналисты, отставники и просто те, кто пришел полакомиться вкусной восточной едой, запить ее сладкими соками, сожалея, что исламский прием исключает алкоголь.

– Виктор Андреевич, хочу вам представить! – появился Чичагов, возбужденный, довольный, совершивший сложные траектории среди тесной толпы, наговорившись, назнакомившись всласть. Рядом с ним стоял стройный худощавый молодой человек с правильным, красивым лицом. Его пушистые светлые брови, тонкая переносица, серые внимательные глаза, чуть улыбающиеся мягкие губы напоминали портреты молодых дворян, бунинских героев, чеховских офицеров, своей рафинированной утонченностью возвещавшие о близком конце сословия. Однако аристократизм молодого человека источал не закат и упадок, а скрытую нервную силу, сдерживаемую подвижность и умело остановленную, непроявляемую понапрасно энергию, готовую обнаружиться в момент предельного риска. За его спиной возвышался громила, которому было тесно в пиджаке, откуда вываливались распухшие, раскормленные мускулы.

– Имбирцев Федор Иванович, – сказал молодой человек, крепко, властно и доброжелательно пожимая Белосельцеву руку, глядя ему прямо в зрачки, – Сергей Степанович обещал меня с вами познакомить.

– Мне кажется, вы понравитесь друг другу, – радовался Чичагов, и в его торжествующем лице, весело потираемых ладонях, расширенных от возбуждения глазах было нечто от фокусника, сдержнувшего таинственный покров с ящичка, в котором вдруг оказались эти два человека, плод его искусства и колдовства.

– Я хотел вам предложить одно дело, – сказал Имбирцев. – Должно быть, генерал Чичагов уже вскользь успел рассказать. Мне нужен опытный консультант по Ирану, способный оценить степень риска, который меня подстерегает. Сергей Степанович считает, что вы – самый подходящий для этого человек.

Мимо них шнырнул приземистый юркий персонаж с белесыми усиками и чуткими ушами, которые он попеременно наставлял в разные стороны. Скрылся в толпе и вновь вынырнул, встал поодаль, схватывая губами кусочки мяса, нанизанные на остренькое копыцецо.

– Мне кажется, вам не следует здесь говорить о делах, – сказал Чичагов, кивая на вкушавшего человечка. – Вас могут услышать, а могут попросту записать направленным микрофоном... Я с вами прощаюсь, – произнес он, пожимая Белосельцеву не ладонь, а локоть, на правах старого товарища, кивая доверительно Имбирцеву. – Если какие-то затруднения, обращайтесь! – и ушел, пробираясь сквозь толпу, то и дело поворачиваясь в разные стороны, раздавая рукопожатия. А Белосельцев и Имбирцев остались среди невидимой, сооруженной Чичаговым конструкции, в которую были вписаны ненавязчивыми, необременительными усилиями.

– Я благодарен за то, что вы согласились прийти, – сказал Имбирцев. – Генерал Чичагов прав, здесь не место обсуждать деликатные проблемы. Если вы примите мое приглашение, мы можем сейчас же отсюда уйти в более подходящее место и там поговорить без помех.

– Согласен, – сказал Белосельцев, отдавая себя во власть незримого течения, стараясь не шевелиться в потоке, чтобы лучше выявить его направление и скорость. Оставаясь неподвижным, почувствовать русло, в котором он совершает скольжение.

Они пробрались сквозь курлыкающую, вкушающую, добродушно-веселую, чутко-настороженную толпу. Оделись, и сияющая, как серебряный слиток, машина в сопровождении джипа с охраной помчала их по вечерней Москве. Расцветенные фасады напоминали огромные прозрачные льдины, и они ныряли, неслись среди фантастической, выпиленной из льда Москвы, которая при первом тепле должна была рас-стаять, превратиться в потоки цветной воды. Так слезы смывают белила, румяна, цветную тушь, и под слоем эстрадного грима открывается усталое родное лицо с любимыми материнскими морщинами.

– Мы поедem в казино, – сказал Имбирцев. – Это часть моего бизнеса. Рестораны, кино-театры, выставочные залы. Но главные деньги – нефть, строительство, инвестиции в военное производство.

Белосельцеву был остро интересен этот белокурый утонченный молодой человек, появление которого еще десять лет назад было невозможно. То исчезнувшее время, к которому принадлежал Белосельцев, оставляло Имбирцеву небогатую возможность стать губернским чемпионом по легкой атлетике, а потом, по прошествии лет, прозябать неизвестным тренером в детской спортивной школе, гоняя юнцов по разбитым, черным от шлака дорожкам. Теперь же, когда рухнула страна, когда, казалось, невозвратно погибло все, что было Белосельцеву свято, когда кругом, среди всеобщей мерзости, копошились прожорливые неопрятные упыри, чьи скользкие плотоядные лица напоминали кишечники, чей вид вызывал страдание и рвоту, появление Имбирцева, его красивое спокойное лицо, аккуратное взвешенное поведение, масштаб его дел внушали Белосельцеву интерес и симпатию. Он почти забыл об интриге, в которую его помещал Чичагов. Увлечен не интригой, а незнакомым, внушавшим симпатию человеком.

Казино, к которому они подкатывали по сумрачной улице, светилось издали, словно огромное павлинье перо. Разноцветный туман растекался от пульсирующей рекламы ввысь, в стороны, пропитывал сугробы и стены. Отражался в сосульках, в окнах домов, в высоких наледи крыш, в столпившихся перед входом лимузинах. Казалось, прохожие, пассажиры машин, окрестные жители дышат этим многоцветным росистым воздухом, пьянеют, живут с блаженными счастливыми глазами.

Охрана расторопно раскрыла дверцы автомобиля. От подъезда кинулся встречать наряженный под гусара портье. В гардеробе радушные служители принимали пальто и шапки. Отдавая верхнюю одежду, Белосельцев с удивлением заметил, что вешалки были полны великолепных шуб, норковых и куньих мехов, песцовых и горностаевых воротников, словно здесь разделся дорогой кордебалет, и он сейчас увидит множество красивых женских лиц, обнаженных плеч, длинных танцующих ног.

– Прошу вас, – пригласил Имбирцев, пропуская гостя вперед. Белосельцев шагнул, проходя сквозь прозрачную мембрану теплого воздуха, и множество ярких отражений и вспышек, сочных и яростных звуков, разгоряченных и яростных лиц обступило его, словно он оказался

на палубе плывущего корабля, далеко от ночного морозного города, в теплых морях, на золотом, уходящем в глубину столбе света. – Мы сядем в сторонке и побеседуем, и никто не посмеет нам помешать.

Имбирцев повел едва заметным повелевающим жестом, и на этот жест из разных концов сияющего пространства появилось одновременно несколько людей. Каждый совершал свое привычное, вмененное ему дело, в результате чего как бы сам собой расчистился ход к нарядному бару. Освободился из множества столиков самый удобный. Образовалось вокруг него ненавязчивое кольцо охраны, состоящей из крепких молодцов в черном, подносивших к губам переговорные устройства с антеннами. Появилась прелестная белозубая девушка, расставила на столике серебряное блюдо с моллюсками, широкогорлую бутылку с красным итальянским вином.

– Начнем с этой легкой необременительной закуски, которая вчера еще плавала в водах вблизи Палермо. – Имбирцев улыбался, лил в бокалы широкую струю вина, ловко цеплял серебряными щипцами розовые ракушки, похожие на те, из которых в пене рождалась Афродита. – За наше знакомство.

Из-за столика, как с верхней палубы, были видны многочисленные игральные столы, покрытые геометрическими фигурами, линиями, цифрами. В них были врезаны медные сияющие рулетки. Метались зайчики света, крутились и цокали шарики. Крупье в цветных жилетках длинными лопаточками двигали горки фишек. Игроки окружали столы, нервные, нетерпеливые, то огорченные, то восхищенные, захваченные каббалистическим мельканием цифр, магическим зайчиком света. Умоляюще взирали на скачущий красный шарик, который, как маленький божок, перелетал из одного золотого сегмента в другой. Увлекал игроков в бесконечную сужающуюся бездну, наполненную красным дымом едкой необоримой страсти, которая вовлекала душу в погоню за недостижимым, неутолимимым счастьем, в сравнении с которым любовь или подвиг или благодатная молитва были слабым намеком на счастье. Какой-то кавказец с кривым, как кинжал, носом взмахивал руками, хватал себя за длинные волосы, и его соперник, синеглазый юнец, хохотал, поднимая вверх сжатый кулак как победивший боксер.

– Я собираюсь передать иранцам элементы ядерных технологий. Часть из них я уже передал. Я налаживаю поставку в Иран документации некоторых узлов и изделий, переброску специалистов. Как обычных технологов, так и высококвалифицированных инженеров. Предполагается через третьи страны переправить в Иран способных русских физиков, математиков, металлургов. Разместить в наших элитных институтах иранских аспирантов, чтобы те могли овладеть недостающими знаниями по ядерной энергетике, включая военные аспекты. Чертежи и детали передаются через сложные связи, третьи страны, фирмы-посредники. Я привлекаю организации, ряд которых имеет сомнительную репутацию, например, «Хесбалла». Все это носит весьма хаотический характер и нуждается в контроле. Вы тот человек, чье знание Востока, оперативное мышление и долгие годы работы в разведке, который мог бы вести у меня это направление. Разумеется, небезвозмездно... – Имбирцев оглянулся и, казалось, взглядом исторг из-под земли могучего верзилу, сопровождавшего их в автомобиле. – Покажи изделие!

Тот погрузил кулачище в бездонный карман пиджака, извлек и поставил на стол среди тарелок с моллюсками точеный драгоценный цилиндр с золотыми клеммами, заводской маркировкой, легированными трубками. Цилиндр своими формами, золотыми сплавами напоминал изделие ювелира. Скульптуру абстрактного художника, заключившего в поверхности, овалы, в тончайшие надрезы и выточки сверхсложную суть.

– Центрифуга для обогащения урана. Нет равных в мире. – Имбирцев касался цилиндра своими длинными крепкими пальцами, и они отражались в зеркальной прецизионной поверхности. Белосельцев помнил свое посещение ядерного центра в Сибири. Высокий, стерильно чистый зал, в котором от потолка и до пола, как тысячи жужжащих веретен, работали центрифуги. Пропускали сквозь себя раскаленный урановый газ, расщепляя его на отдельные фрак-

ции, выделяя боевую компоненту. Огромный, в тайге, завод, где сложными превращениями, без человеческих рук, возникало оружие. Он видел сквозь прозрачную толщу, как манипуляторы, похожие на клешни, вытряхивали из формы серебристую полусферу. Часть боеголовки, что в сочетании с другой, подобной, сдвинутая мощным усилием, превращалась в ослепительный взрыв над Нью-Йорком, оплавляя восковые небоскребы. Теперь центрифуга стояла среди ребристых ракушек, как маленькая статуя Афродиты. – Я должен буду передать ее в Тегеран.

Белосельцев не торопился отвечать. Смотрел, как под пластинчатым золотым потолком, уносившим ввысь размытое отражение зала, под гирляндами огней, напоминавшими виноградные лозы, зеленеют столы, по которым ловкие руки рассыпают атласные карты. Несколько японцев играли, мерцали очками, указывали пальцами на валетов и дам, бесстрастно расплачивались. Кончили игру, разом встали. Двинулись через зал, туда, где на диванах сидели молодые женщины. Несколько длинноногих красавиц поднялось им навстречу. Японцы взяли их под руки, маленькие, по плечо своим спутницам, покидали зал. Те набрасывали на плечи пышные шубы, выходили в легкую пургу, где их подхватывали просторные лимузины, мчали среди разноцветных сугробов.

– Вы можете назвать мою деятельность шпионажем в пользу другой страны. Разглашением государственной тайны в целях обогащения. Но, поверьте, мною движет не корысть. Иранские деньги для меня – не главное. – Имбирцев тонким ножичком растворял черно-перламутровые раковины мидий, выскребая липкий язычок моллюска. – Эти великолепные заводы, построенные в СССР, сегодня останавливаются в интересах Америки. По ядерным центрам рыскают ЦРУ и МОССАД. Их агенты в Кремле закрывают производство, разгоняют коллективы ученых. Одних скупают, как скот, Америка и Израиль, другие идут на толкучки торговать колготками. На вырученные деньги я продлю работу заводов, загружу лаборатории и исследовательские институты. Спасу остатки ядерной мощи страны. Россия перестала быть препятствием Америке для установления мирового господства. Президент управляется евреями, он фишка в руках Пентагона. Только исламский мир, только великий и могучий Иран остановят жидов и Америку. Я хочу, чтобы у Тегерана был ядерный меч, чтобы исламские баллистические ракеты могли долететь до Нью-Йорка. И я сделаю все, чтобы русско-иранский союз состоялся. Не сейчас, а после того, как мы отделаемся от этой Язвы желудка, от этого Цирроза печени, этого Шунтированного сердца.

Белосельцев заметил, как неподдельно побледнело от ненависти лицо Имбирцева, словно тонкая переносица и узкие скулы проморозились, как у лыжника, бегущего в ледяном ветре. Эта ненависть была искренней, обращалась на тех же, кого бессильно ненавидел Белосельцев. Но Имбирцев был силен, дерзок, в нем чувствовалась неистребленная сила и страсть, и это восхитило Белосельцева. Они, старики, оказались разгромлены, но на смену им, посреди распада и немощи, таинственно проявились русские нерастратенные энергии, о которых в Писании говорится: «Дух дышит, где хочет».

Посреди зала, на возвышении, был помещен сиреневый «форд», натертый до блеска, предназначенный для лотереи. Помимо карточных столов и рулеток вдоль стен стояли игральные автоматы. В их электронных головах взрывались пучки лучей, гасли и зажигались светила, падали сбитые самолеты. Игроки в наушниках с отрешенными лицами смотрели на экраны невидящими глазами, которые, казалось, были залеплены цветными ядовитыми бельмами. В этот зал собирались люди, чтобы утолить загадочную, не имеющую объяснения страсть. Инстинкт игры, который присутствовал в человеке наравне с инстинктом продолжения рода, инстинктом смерти, инстинктом разгоряченного страстью самца. Расставленные вдоль стен хромированные и застекленные приборы, установленные, накрытые сукном столы, крутящиеся золоченые рулетки и атласные карты были ловушками, где улавливались взрывы игровой похоти. За этими столами, у вращающихся ослепительных тарелок и чаш люди утоляли голод

своих игровых вожелений. Казино было огромной столовой, где оголодавших игроков окормляли, вливали в них терпкое пойло редких выигрышей и частых разорительных проигрышей.

– Я дозрел до этих мыслей не сразу. Сначала делал бабки, как все, любой ценой, с любыми партнерами. Потом увидел, как живет наш русский народ. В такой богатой стране, с такой добротой и талантом живет как раб под пятой у жидов. Мне говорили попы: «Помоги народу, отмоли несправедные деньги, построй церковь». Я две церкви построил, два священника у меня на содержании. Но нам нужны не просто попы деревенские, а те, кто освящает спускаемые на воду авианосцы, кто служит молебен на запуск новой ракеты, кто ставит свою часовню в атомном городе или на базе подводных лодок. Нам нужны талантливые русские политики, генералы, разведчики. Вы, люди старшего поколения, не сумели спасти страну. Она погибла не без вашего участия. Теперь мы, молодые, начинаем ее восстанавливать, и нам нужна ваша помощь.

Это были веские слова красивого уравновешенного человека, в котором лишь однажды проступили белые пятна ненависти и тут же вновь затянулись розовым нежным цветом. Чтобы проверить глубину и истинность слов, Белосельцеву нужно было проникнуть не просто в организацию сидящего перед ним человека, но и в его душу и разум. А это требовало огромных усилий, кропотливой многодневной работы, предполагало глубинные побуждения. Страны, обучившей его профессии разведчика, больше не было. Служение, являвшееся главным его побуждением, было прервано. Едва ли он станет тратить остатки сил на неверное, рискованное и, скорее всего, обреченное дело. Но сидящий перед ним человек внушал симпатию. Порождал надежду на то, что сопротивление народа не сломлено, что сохранились силы для отпора, и эти силы нуждались в разумном сбережении, опытном управлении.

На отдаленной эстраде над головами игроков музицировал оркестр. Музыканты качали хромированными саксофонами, похожими на изогнутых морских коньков, шевелили перламутровыми гитарами, напоминавшими раковины. И можно подозвать очаровательную официантку и заказать к красному итальянскому вину извивающийся кусочек саксофона или перламутровую, под острым соусом, гитару. У столов бушевали разгоряченные неистовые люди. Крупье в одинаковых пестрых жилетках напоминали бесстрастных дрессировщиков, которые дразнили животных, заставляли их кидаться в сияющие кольца рулеток. Повсюду стояла охрана в черном, зорко наблюдала за цирковым представлением, готовая в любой момент вмешаться, если взлетит чей-нибудь разгневанный кулак или, не дай Бог, мелькнет вороненая сталь пистолета.

– Все свое состояние, все свои связи я посвящу русскому делу. Я создаю организацию, если угодно, «партию нового типа». Она законспирирована, имеет несколько этажей конспирации. Ее ядро связано священной клятвой. Нам нужны специалисты, способные заниматься разведкой и контрразведкой, способные нейтрализовать тех продажных разведчиков, которые за деньги служат жидам-банкирам. Один из моих друзей, которому я верил, как брату, продался жиду Кугелю, агенту МОССАДа. Он раскрыл одну из моих операций. Я вынужден был его устранить. Его машину взорвали. Он взорвал, – Имбирцев кивнул на верзилу, стоявшего поодаль, положившего огромные ладони на пах. – Я делаю вам предложение возглавить «иранский проект». Мне нужна защита и консультация. Чтобы не случился «русский ирангейт», как говорит генерал Чичагов. Вот моя визитная карточка. Я дам вам мобильный телефон. – Имбирцев извлек маленькую золотую ручку и писал на визитке номер телефона. На карточке радужно мерцала голографическая эмблема, словно крохотное перо павлина. И пока он писал, Белосельцев запомнил и несколько раз повторил: «Кугель, агент МОССАДа». – Я был рад познакомиться. Не требую сиюминутного ответа. Вы знаете, как меня отыскать, – он передал Белосельцеву карточку, давая понять, что их встреча закончена. Верзила проводил его к выходу, посадил в просторный, как шкаф, «мерседес», и молчаливый шофер помчал его среди многоцветных сугробов, сквозь радужную росу, опадавшую с огромного павлиньего пера.

Он вернулся домой, в кабинет с развешанной коллекцией бабочек. Стоял утомленно, разглядывая мертвенные нарядные батальоны, вооруженные синей сталью иголок. Время, в котором он пребывал, расщепилось, и одна его часть отслоилась тончайшими перепонками бабочек с орнаментом военных дорог, речных переправ, рубежей обороны, увлекала его вспять. Другая часть стремилась вперед за метельные окна, обрекая его на неясное и тревожное будущее. Он отыскал под стеклом данаиду, пойманную в джелалабадском саду, и она, как авиамастка, подхватила его и понесла в исчезнувшее драгоценное время.

Глава вторая

Офицер разведки Белосельцев, приглашенный в кабинет к генералу, слушал его трескучий, распавшийся на сухие волокна голос, смотрел на остроносое больное лицо и старался запомнить не столько слова, сколько сухой дребезжащий звук, в котором, как и во всем его облике, обнаружился убыстряющийся распад, дробление, вторжение инородной, расщепляющей материи. Стены кабинета, обшитые темным дубом, воплощали строгую окаменелую незыблемость. Зеленая настольная лампа была из времен, когда ее зажигала белая властная рука замнаркома. Портрет Дзержинского над головой генерала, написанный маслом, висел с тех пор, когда посетители кабинета носили длинные френчи с красными кубами и ромбами, за окнами, за тяжелыми, на медных кольцах портьерами, шумела иная Москва, светились иные небеса, в которых шли неуклюжие, как бронепоезда, бомбовозы, окруженные жужжащими серебристыми «ястребками», и над розовой площадью, над брусками полков, над ползущими танками проплывало в небе звенящее, в блеске пропеллеров металлическое слово «Сталин».

Стол генерала, с дубовыми углами под зеленым сукном, усеянный кляксами старинных чернил, прожженный горячим пеплом выкуренных полвека назад папирос, был пуст. Несколько белых листков, изрезанных колючими генеральскими письменами, красная картонная папка с агентурными донесениями, свежая, еще не раскрытая черно-белая газета и маленькая синяя ваза из гератского стекла, слюдяная, с потеками, льдистого изумрудно-прозрачного вещества, с таинственным излучением, словно внутри горел немеркнущий светоч, – лампада, зажженная в кабинете чьей-то волшебной рукой. Этот фетиш, изделие гератских стеклодувов, Белосельцев увидел год назад, когда был представлен генералу. С тех пор на докладах и встречах, на совещаниях и во время внезапных вызовов этот зелено-синий, волшебный цвет волновал Белосельцева. Хотелось взять этот хрупкий сосуд, поднести к глазам, посмотреть сквозь него на окно, на зажженную лампу, на лицо генерала.

– Теперь, когда мы оговорили формальности, попробую объяснить, почему я тебя посылаю. После того как из Кабула вернулась наша главная аналитическая группа и подготовлен общий отчет, ты поедешь отдельно, в режиме «свободного поиска», и привезешь информацию, которой не будет в отчете. Ты привезешь не факты, не сведения, не вскрытые взаимодействия и связи, – ты привезешь впечатления. В них, полученных с помощью интуиции и образного сознания, будет заключаться ответ – предстоит ли нам крупномасштабная азиатская война, или Афганистан – лишь локальное приложение сил, как это было в Венгрии, Чехословакии и на китайской границе. Я давно оценил твой ум, твое кропотливое усердие, но я оценил также редкое свойство, которым ты обладаешь. Которым когда-то обладал и я. Ты мыслишь образами, системами образов, а это и есть наиболее экономный и целостный способ выражения истины. Настоящая разведка – это поэзия. «Илиада» или «Слово о полку Игореве» – есть сохранившиеся во времени отчеты военных разведчиков. Ты возьмешь себе «журналистскую легенду». Не обременяй себя шифрограммами в Центр. Резидент оповещен о твоих маршрутах. Через месяц ты придешь ко мне в кабинет и положишь на стол три странички отчета. Это и будет твоя афганская «Одиссея». Проиллюстрируем ее вместе миниатюрами из «Бабур-намэ»!.. – генерал засмеялся, и смех его коричневых губ напоминал хруст кофейных зерен, перетираемых ручной кофемолкой.

Офицер разведки капитан Белосельцев слушал генерала, оказывающего ему знак высшего расположения, посылавшего под пули в страну, где сам генерал провел свою молодость, откуда вывез гератскую голубую лампаду. Теперь она сияла зеленоватой лазурью среди московской зимы.

За огромным холодным окном сыпал снег, заваливал круглую площадь, в центре которой возвышался конический памятник. Белый снежный сугроб на бронзовой фуражке, белые

эполеты на бронзовых плечах, и вокруг в гулах, в мерцании стекла и металла – сверхплотный горячий сгусток. Завиток, в самом центре Москвы, где раскручивалась мировая спираль. Волчок, заставлявший кружиться отдаленные пространства и земли. Он, Белосельцев, как крохотный камень, выпущенный из огромной пращи, полетит с этой площади в азиатскую даль, где сверкает лазурь минаретов.

– Мы начали афганский поход с бельмами, вслепую. Наши политики не знают Востока, военные не знают Востока, разведка не знает Востока. Мы готовились воевать на европейском театре, брать Рим, Париж и Мадрид, полагая, что Самарканд и Бухара – это и есть Восток, а все, что южнее Амударьи, спит непробудным сном. Но Восток проснулся. Мы въехали туда на танках, но война в горах требует снайперских винтовок. Мы понесли идеологию туда, где властвует религия. Мы предлагаем культуру тем, кто ценит обычаи и заповеди. Русская школа разведки великолепно знала Восток, но последние ее представители были изгнаны из разведки после расстрела Берии. Я – лишь недоучка, лишенный учителей. Человек, обделенный мистическим опытом, не сможет понять Восток. Мне казалось, я обладал мистическим опытом. Мне кажется, и ты обладаешь. Русская душа, измученная западной мыслью, стремится на Восток, мечтает о Востоке. Лермонтов в бурке с газырями на кахетинском жеребце мчался на Восток. Верещагин с мольбертом надевал тубетейку, рисовал гробницу Тимура. Я наматывал чалму, кутался в накидку, сидел в чайхане на рынках Кандагара, Герата, Гордеза. Поезжай на Восток, посмотри на него неподвзято, любящими глазами. Вернись и расскажи, что увидел...

Белосельцев, в генеральском кабинете, у стола, сбитого из кубов и цилиндров, напоминающего мавзолей или здание «Днепрогэса», глядел на белое, в падающих хлопьях окно и чувствовал дыхание Востока. Горячий солнечный ветер, вылетающий из обожженных глиняных губ. Голубой сладкий дым, в котором туманятся изразцовые дворцы и мечети. Кусты чайных роз, обрызганные алмазными каплями. Огненно-черные взгляды мужчин из-под пышных белых тюрбанов. Укутанные в шелковую паранджу розовые, как лилии, женщины.

Лишь дважды за время службы он был на Востоке, в Пакистане и Турции. Запомнил, как сладкий обморок, рынок в Равалпинди. Мессиво золота, шелка, заваленные плодами прилавки. Рокот и шарканье клубящейся несчетной толпы. Утренний Босфор был синий, густой. В проливе, оставляя стеклянный след, плыл белый корабль. Первый луч солнца краснел на минаретах Софии.

Теперь его поездка в Кабул обещала быть долгой. Уже был собран дорожный баул. Заряжен цветными слайдами аппарат. Марлевый сачок – бабочки, его тайная страсть, – был уложен на дно баула. Его фарси, не находивший применения в Москве, тревожил гортань и язык, как вкус перезрелого граната. Скоро он расцелуется на прощание с матерью, и сияющая махина, заглывая турбинами голубой студень неба, унесет его на Восток.

– У меня были «легенды» дервиша, торговца опиумом, рыночного менялы. Я разведывал танковые проходы в горах, на случай прорыва в Индию через Джелалабад. Брал пробы фуражного зерна для нашей кавалерии в районе Хоста. Исследовал заболевания гепатитом и проказой под Кандагаром. Промерял броды через реку Герат для артиллерии и пехоты. Мы всерьез готовились выйти к «теплым морям». Сталин утвердил разведывательную директиву. У меня одно ножевое и два пулевых ранения, полученные во время афганской разведоперации. После Сталина и Тегерана мы охладели к Востоку. И жестоко за это заплатим. У меня есть мечта: перед смертью побывать в Бамиане, лечь на желтую горячую землю и увидеть, как в красной горе улыбается огромный, вырезанный из песчаника Будда. Верблюды пьют из арыка, пускают сквозь рыжие зубы серебряные пузыри...

Белосельцев видел, как смертельно болен генерал. Казалось, в его остроносом лице, в тоскующих темных глазах, в голом коричневом черепе завелись невидимые муравьи. Копшатся, точат, роют крохотные пещеры, превращая генерала в труху. И скоро его не станет. Он вернется к своему тотемному зверю, превратится в смуглую бабочку, обитающую на горячих

осыпях Гиндукуша, на каменной скале Бамиана. И, быть может, он, Белосельцев, оказавшись в афганском ущелье, взмахнет сачком над жарким откосом, над крохотной цветущей полынькой, и в прозрачной кисее затрепещет, забьется резными крыльями пойманный в сачок генерал.

– Введение войск – стратегическая ошибка. Мы подготовили вариант операции, исключавшей ввод войск. Мы предлагали ограничить наши действия районом Кабула. Сделать ставку не на наивного мечтательного Тараки, похожего на детского сказочника, а на блестящего волевого Амина, которого поддерживала армия. Мы предлагали опираться на простонародное крыло партии «Хальк», которое работало в деревне, воевало на фронтах. И отдалиться от крыла «Парчам», состоявшего из городской интеллигенции и профессуры, умевшей говорить с трибун и не знавшей устройство «Калашникова». Политбюро отвергло наш план. Мы убили Амина и ввели дивизии. Армия вторглась в районы пуштунских племен, расшевелила дремлющий муравейник. В несметном количестве эти муравьи выползут из своих убежищ, из своих песчаных нор и горных пещер и, быть может, доползут до Ташкента. Я хочу, чтобы ты среди патетических речей и наивных иллюзий разглядел катастрофу. Допущенные под Кабулом ошибки нам придется исправлять под Москвой...

Белосельцев, офицер советской разведки, не понимал генерала. Он верил в незыблемость и мощь государства, которому верой служил. Рассматривал мир, как арену соперничества. Как театр возможной глобальной войны, где страны и континенты, океаны и дно морей содержали уран и нефть, разделялись на военные блоки и связывались подлетным временем баллистических и крылатых ракет. Афганистан, куда его направляла разведка, был объектом соперничества. Американские авианосцы в Персидском заливе, осуществив массовый взлет авиации, через полчаса могли бомбить нефтяные поля Сибири. Советские штурмовики с аэродрома Кандагара через десять минут после взлета могли топить авианосцы в заливе. Генерал говорил о катастрофе, о совершенных непоправимых ошибках, но прочность и мощь страны, несокрушимость системы позволяли исправить ошибки, выдержать перекосы в политике. Крымский мост над Москвой-рекой был спроектирован с пятикратным запасом прочности. С таким же запасом был спроектирован Советский Союз. Белосельцев не понимал генерала, сострадал ему. Генерал уменьшался и таял, распадался на множество мелких, не связанных друг с другом частиц. Был готов исчезнуть. А он, Белосельцев, в своей силе и молодости наращивал присутствие в мире, расширял над ним свою власть. Еще немного, и на мощной советской машине перелетит в другую часть света, которая тоже станет советской.

– Мы, аналитики, знаем больше, чем все остальные. У меня предчувствие огромной беды. Не той, в Кабуле, которую ты обнаружишь. А этой, в Москве, которая никому не видна. Разбитый кувшин с молоком летит со стола, и пока он летит, осколки, приликая друг к другу, сохраняют форму сосуда. И молоко в разбитом кувшине сохраняет форму сосуда. Но едва кувшин коснется пола, и он превращается в груды бесформенных черепков среди белой бесформенной лужи. Наше общество, как красивый глазированный, расписанный орнаментами кувшин, в бесчисленных, едва различимых трещинах. Оно падает, еще не наткнувшись на преграду. Афганистан – преграда, на которую натолкнется Советский Союз. Не умом, а всей своей биологией я чувствую начало распада. Мои чуткие клетки уловили это начало, отторгаются одна от другой, ненавидят одна другую, и я весь распадаюсь. Ты молод, в цветении сил. Тебе многое дано увидеть и многое дано пережить. Ты будешь свидетелем больших потрясений...

Белосельцев изумленно слушал. Генерал в своем державном кабинете, среди телефонов кремлевской связи, под недремлющим оком Дзержинского, награждал его признаниями так, словно завтра умрет. Напутствовал его не в Кабул, а в далекое грозное будущее, где его, генерала, не будет. Белосельцев вдруг испытал странное помрачение, затмившее снежное большое окно, словно им в одночасье была прожита вся огромная предстоящая жизнь. Он оказался у другого ее конца, перед самым ее завершением. Старый, одинокий, бессильный, перенесший утраты и тяготы, сидит в сумраке деревенской избы, без огня, без тепла, посреди непрогляд-

ной вьюги, и ждет, когда из метели протянутся к нему две белые женские руки, унесут его из этого мира.

Видение налетело и кануло. Он снова был в кабинете генерала разведки. Молчали телефоны с металлическими гербами страны. Драгоценно сияла голубая гератская ваза. Генерал смотрел на нее, как в таинственный стеклянный прибор, сквозь который видел жаркие кишлаки, смуглолицых людей, многолюдные моленья и торжища, и он, молодой разведчик, под белой чалмой и накидкой, смотрит на солнечный брод, по которому в брызгах и пене, в блеске винтовок и сабель проходит военная конница.

– Разведка – это способ познания. Познание имеет предел. За этим пределом – неведомое. Неведомое в философии именуется истиной. Неведомое в религии именуется Богом. Монахи разработали систему познания Бога – аскеза, молитвенное молчание, неуклонное, с падениями и взлетами, восхождение. Художники и философы, приближаясь к порогу познания, творят многообразие стилей и школ, стараются, каждый по-своему, приблизиться к истине. Разведчик – это художник, монах и философ. После изнурительных кропотливых трудов его посещают прозрения. Сквозь формулу деления урана, или данные о полете ракет, или дислокацию гарнизонов врага ему открывается истина. Ты отправляешься на Восток, где понимание приходит как чудо. Твое оружие – ум и душа. Не торопись хвататься за автомат, не спеши вынимать из кобуры «Макарова». Постарайся пережить откровение. Чувствуй и думай так, чтобы тебя посетило чудо...

Генерал нажал невидимую кнопку, помещенную в каменном туловище стола. Привел в движение обитателей соседней приемной. В кабинет вошел референт, деликатный, сдержанно-приветливый, наглухо закрытый для понимания того, что творилось в этой красивой, аккуратно подстриженной голове с голубыми, навывкат, глазами.

– Товарищ капитан, ваши документы! – произнес референт, выкладывая перед Белосельцевым командировочный бланк, загранпаспорт, удостоверение корреспондента столичной газеты, банковый счет и авиационный билет до Термеза. – Термезское управление уведомлено о вашем прибытии. Агитколонна с тракторами выдвигается в Афганистан через два дня. Товарищи внедряют вас в колонну.

– Спасибо, – сказал Белосельцев, принимая пакет документов. – Товарищ генерал, разрешите идти!

– Идите. Желаю удачи.

– Спасибо, товарищ генерал!

Они пожали друг другу руки. Ладонь генерала была сухая и острая, обожгла чем-то горячим и быстрым. Выходя на улицу из огромных, украшенных бронзой дверей, погружаясь в белое, падающее с небес вещество, Белосельцев чувствовал прикосновение генерала, как незримый порез. Схватил холодный снег, нападавший на мраморный цоколь. Сжал что есть силы в горячих пальцах. Кинул снежок вслед проходившей женщине, ее запорошенному лисьему воротнику, маленьким красным сапожкам, оставившим на белизне вереницу мелких следов. И когда в ночных небесах несла его туманная серебряная машина и он дремал, откинувшись в кресле, после терпкой рюмки вина, он все медлил, старался не думать о будущем. Оно надвигалось на него необъятным звездным пространством. А он не пускал его.

Видел белый снег на черном цоколе здания, стеклянную голубую лампаду на столе генерала, женские сапожки, протоптавшие в московском снегопаде тонкую тропку.

Глава третья

В Термезе его встретил молодой дружелюбный узбек, коллега из управления. Показал на карте маршрут, по которому выдвигалась колонна тракторов «Беларусь» – советский подарок кооперативам афганских крестьян. Маршрут пролегал через Амударью, по предгорьям, к перевалу и туннелю Саланг, и дальше вниз, в долину Черикара, к Кабулу. В эту колонну, охраняемую бронегруппой, и будет внедрен Белосельцев под видом журналиста, освещающего путь тракторов. Дружелюбный черноглазый узбек отвел его в чайхану, накормил горячим ароматным шашлыком, плоским круглым хлебом, фиолетовым дымчатым виноградом. Они распивали чай из пиал, узбек подливал зеленоватый прозрачный напиток из большого чайника с алым цветком и бегло рассказывал оперативную обстановку на другом берегу Амударьи. Обстановка была спокойной, грузы по трассе шли беспрепятственно. Агентура с той стороны не тревожила сообщениями о терактах и обстрелах колонн. После московского снежного неба, сырого метельного ветра над головой была яркая азиатская лазурь, в ржавых безлистных деревьях ворковали золотистые горлинки, и через площадь, уклоняясь от машин, семенил сиреневый ослик с восседавшим бородатым наездником в полосатом халате и тюбетейке. На площади уже звучал рокот труб, гудели микрофоны, начинался торжественный митинг. Гостеприимный узбек проводил его к трибуне, украшенной коврами и вазами, представил распорядителю праздника и исчез, чтобы больше никогда не возникнуть.

Далеко за тяжелой амударьинской водой, сквозь краны термезского порта – волнистые, красно-рыжие афганские земли в зимних сожженных травах, в солнечной проседи холмов и предгорий, неведомая, иная земля. А здесь, в Термезе, лязг и скрежет железа, хруст стальной колеи, мазутное движение составов, бруски разноцветных контейнеров. Отрываясь от разлива реки с бегущей вдаль самоходкой, Белосельцев снова смотрел на ряды тракторов, синие и стройные, застывшие на паромном причале, на афганцев-водителей, худых и смуглых, в разноцветных шапочках и безрукавках, стоящих у машин. Сооруженная наспех, увитая цветами и флагами, возвышалась трибуна. Тюбетейки, халаты, рабочие робы, русские и узбекские лица. Военные, партийцы, местная узбекская власть и приезжие чины из столицы. Девушки в шелковых платьях, оттанцевав, откружив, тихо смеялись. Музыканты, устав от игры, опустили меднокованные, с вмятинами солнца, длинные, как хоботы, трубы. Все на виду, возбуждены, готовы к речам и проводам. Озирают шеренги глазастых машин, нацеленных хрустальными фар за реку, в другую землю, где предстоит им движение к неведомым, их поджидающим нивам.

На трибуне, куда по струганым ступеням, мимо зорких строгих охранников, поднялся Белосельцев, было тесно и жарко. Здесь стоял Нил Тимофеевич Скороходов, инженер-мелиоратор из Томска, направлявшийся советником в афганские села. Он волновался, гладил руками перила, повторял про себя слова заученной речи. Его простодушное крестьянское лицо обращалось то к машинам, словно их пересчитывал, то к начальствующим узбекам, плотным и холеным, отправлявшим караван тракторов, то через реку к афганскому берегу, в тревожную и желанную даль. Маленькая зимняя чайка, проскользнув сквозь грохоты порта, долетела до трибуны, мелькнула, как легкий знак, над головой советника.

Здесь был кабульский партиец Сайд Исмаил, прибывший на дружеский митинг встречать машины. Коричневое большеглазое лицо, мягкие сиреневые губы, большой смуглый нос, – он напоминал Бело-сельцеву лося или оленя, травоядного, доброго, но чем-то однажды напуганного, о чем свидетельствовали тревожные фиолетовые глаза. Он взирал на ряды тракторов, которые поведет в бедные кишлаки в провинции Нангархар и Гельмент. Выведет их на нивы, вместе с черными, запряженными в сохи быками, и худые крестьяне с мотыгами и кетменями смогут убедиться воочию, что значит земельная реформа партии.

Тут был старый узбек-ветеран, приведенный под руки на трибуну услужливыми молодыми охранниками, в пиджаке, усыпанном орденами. Его кривые старые ноги были обуты в кожаные сапоги с блестящими резиновыми калошами, глаза под седыми бровями были прикрыты, а тело казалось хрупким, как полое сухое растение. Его жизнь была готова исчезнуть и кануть, держалась на хрупком сухом черенке, готовом вот-вот обломиться. Сквозь дремоту он слушал громкие речи, стук моторов и бубнов, и старая рана, полученная в юности от басмаческой пули, вдруг ожила и заняла.

Среди пестрого люда, шляп, тюбетеек и кепок выделялся своей военной фуражкой подполковник Мартынов, сопровождающий колонну тракторов с конвоем «бэтээров». Он прибыл из Кабула, из штаба армии, лицо его было красным от горного солнца, офицерские усы напоминали два пшеничных колоска, и он терпеливо ждал, когда закончится митинг, тяжелые паромы перевезут трактора через реку, и он выстроит их на трассе и, отдав приказ «бэтээрам», поведет по опасным перевалам.

Его заслонял председатель колхоза, крупный узбек в крохотной тюбетеечке, приклеенной к смоляной голове. Председателя отвлекли на митинг от обширного, лежащего по соседству хозяйства, отдохавшего после хлопковой жатвы. Чинились на машинном дворе исхлестанные хлопком комбайны. Вода по бетонным желобам бежала из канала, поила изнуренную родами землю. Двукрылый самолет носился над малиновой пашней, рассеивал белый прах удобрений. Громадные насосы гнали в степь желтую амударьинскую воду. Обо всем этом думал и заботился председатель, не слишком представляя себе соседнюю страну, населенную земледельцами, орудующими кетменем и сохой, для которых его колхоз показался бы райским дивом.

Одним из первых говорил советник Нил Тимофеевич. Речь его, неумелая, с поиском нужных слов, с протягиванием рук, была о даре, идущем от сердца. О тех, кто создавал эти советские трактора, добывал из земли железо, плавил сталь, ковал и точил, собирая машины, чтобы афганский крестьянин всколосил ниву новой свободной жизни. Кончил говорить, поклонился неловким поклоном, и белая чаечка, скользя сквозь железные краны, снова мелькнула над его головой, как бесшумный таинственный знак.

Вторым говорил Сайд Исмаил. Речь его была мегафонно-звонящая, нараспев. Слова, вырывавшиеся из-под черных усов, были о народе, встающем с колен, о начале дороги, на которую вышел его народ за хлебом и правдой, как некогда вышел великий соседний народ. Теперь два народа-брата на едином пути, один впереди, другой лишь ступил на него. И ушедший вперед обернулся, протянул руку брату, и тот пожимает ее, принимает дар тракторов.

Он по-мусульмански прижал руку к сердцу, а потом воздел ее, стиснув в кулак. Белосельцева волновала его напыщенная риторика, цветистое многословье. Он понимал стремление афганца домой, за реку, где ждали его с нетерпением товарищи, неоглядные труды и заботы до старости, до седин. Чувствовал, что вступает с ним в еще неясную, еще безымянную связь, которая будет иметь свое тревожное и грозное продолжение. Сам вместе с ним стоит у начала пути. Не ведает, как его совершит, каким вернется обратно из красноватой заречной страны.

Председатель колхоза произнес короткую напутственную речь. Чуть слышно хлопнул в ладоши. Трубачи, сделав глубокие вздохи, подняли кованые, метнувшие солнце трубы. Ударили барабаны и бубны. Им откликнулись тепловозы и краны. Девушки, воздев руки, поплыли по кругу. И все пошли к тракторам. Открыли капот у переднего и на синей крышке, макая в баночку кисть, выводили красное слово «Дружба», ставили под ним свои подписи. Нил Тимофеевич, и Сайд Исмаил, и военный Мартынов, и водитель, и портовый рабочий. Словно писали письмо тем, кто ждал трактора в далеком неизвестном пространстве.

Белосельцев оглядывался радостными, возбужденными обилием зрелищ глазами. Мир вокруг напоминал нарядное восточное блюдо, – покрытое цветами, узорами, блестящей глазурью, – изделие гончаров и художников, выставленное напоказ под синими узбекскими небе-

сами, среди прокаленных красноватых холмов. И в этом студеном струящемся воздухе, среди барабанных и трубных звуков, вдруг что-то сместилось. Остекленел и заморозился воздух, как лед, сохранил в себе остановившееся дуновение ветра. Окаменели и замерли лица, размытые, утратившие живое движение. Мир вокруг потерял свою сочность и блеск, словно с нарядного блюда соскоблили лазурь, потухли и потускнели на нем цветы и орнаменты, в утомленной глине наметились и разбежались темные пыльные трещины. И весь мир, в котором пребывал Белосельцев, состарился и устал, был готов развалиться, превратиться в бесформенные разноцветные крошки.

Это длилось секунду. Вновь растаял и заструился живой синий воздух. Сочно и громко зазвучали трубы и бубны. Лица, остановившиеся на мгновение, опять задвигались, задышали. И блюдо, глазированное, в алых и золотых цветах, лежало перед Белосельцевым, предлагая ему великолепные, отекавшие соком плоды. И только если пристально приглядеться, заметишь под стеклянной глазурью, под фиолетовыми виноградными ягодами легчайшую паутинку трещин.

Признак одряхления и ветхости. Контуры будущих черепков и осколков.

Уже далеко за спиной была мутная полноводная Амударья, рыжая, взбаламученная, со множеством несущихся голубых воронок и вихрей. Остался за спиной афганский порт Хайратон, к которому причалили паромы, груженные тракторами. Синие, сверкающие стеклами машины катили одна за другой по бетонной трассе, среди осыпей, холмов, сухих, озаренных холодным солнцем предгорьев. В голове колонны двигался авангард «бэтээров», длинных, плавных, с торчащими пулеметами. Колонну замыкала вторая бронегруппа с командирской машиной, на которой вместе с подполковником Мартыновым поместились Нил Тимофеевич, Сайд Исмаил, Белосельцев, белобрысый, в танковом шлеме механик-водитель и чернявый стрелок, рассматривающий в прицел горбатые, похожие на верблюдов, холмы.

Белосельцев сидел на броне, свесив ноги в глубокий люк. Чувствовал, как ровно давит на грудь встречный ветер, расширяет и высветляет глаза. Перегороженный черным стволом пулемета, двигался вокруг яркий разноцветный мир, удивлявший своими картинками. Белосельцев, упиваясь волей, радуясь зоркости и свежести чувств, выхватывал из этого мира драгоценные впечатления. Не разглядывал их подолгу, а, оставляя на потом, прятал поглубже в память, чтобы после, может быть, вечером, или через день, или в старости, снова их оттуда извлечь. Сладостно и подробно рассматривать, восхищаясь их драгоценной неповторимостью.

По встречной полосе бетонки накатывал грузовик, с хромированным радиатором, зеркальным лобовым стеклом, за которым сидел темнолицый, в белой чалме водитель. Кузов грузовика был надстроен, превращен в высокий деревянный фургон, покрыт множеством разноцветных рисунков – растений, цветов, животных и птиц, мечетей и зданий, корабликов и самолетов. Рука художника, водившая кистью, была веселой, неутомимой на выдумки. Словно ребенок украсил грузовик переводными картинками. Кабина грузового «мерседеса», созданного на современных конвейерах Германии, была украшена восточной бахромой с кистями, стеклянными и металлическими подвесками, напоминавшими елочные игрушки. Над кабиной мигали разноцветные лампочки, машина напоминала новогоднюю елку или цирковую декорацию. Казалось, в фургоне спрятаны акробаты и фокусники. Доберутся до нужного места, раскроют борта фургона, и из него на потеху и забаву людям высыпят жонглеры, канатоходцы, дрессировщики. Замигают огни, заиграет музыка. Под переливы свирели из длинного кувшина покажется, заструится, заколеблет маленькой головкой чешуйчатая змея.

Все это успел разглядеть и пережить Белосельцев, пока нарядный грузовик пролетал мимо, распахивая шумную солнечную волну ветра. И видимо, лицо его было таким восхищенным, наивным, что сидевший рядом Сайд Исмаил заулыбался, понимая его радость, благодарный ему за это радостное восхищение, вызванное встречей с афганским дивом.

– Такой грузовик делает в Пакистан. Там хороший художник, рисует весь грузовик! – сказал он, коверкая слова своими мягкими сиреневыми губами, словно держал в этих губах вкусный и сочный плод. Белосельцев кивнул, оглядываясь вслед исчезавшей машине, за которой тянулся шлейф разноцветного воздуха, как прозрачная бахрома, из Пакистана, сквозь ущелья и перевалы, неся в себе таинственные звуки и краски иных народов и стран.

За обочиной на бугре возникло сооружение, напоминавшее разрушенную глиняную печь или заброшенный, размытый дождями термитник. Рыжий запекшийся купол с круглыми отверстиями, изъеденные ветром, шершавые стены, окаменелая, с изглоданным верхом изгородь. Сооружение казалось мертвым, необитаемым, но из невидимой дыры вяло струился дым, сладко пахло горячей сосной, яркой лазурью вспыхнул драгоценный, вмазанный в купол изразец. По краю дороги к жилищу двигалось малое стадо белых коз, подгоняемое мальчиком с хвостотиной. Проезжая мимо, Белосельцев успел разглядеть костлявые козьи спины, шитую бисером шапочку на круглой голове мальчика, его блестящие веселые глаза, ветхое рубище на шуплых плечах и босые грязные ноги, семенившие по бетону.

Советник Нил Тимофеевич, уцепившись за выступ брони, одолевая ветер, сказал Белосельцеву:

– Бедность-то какая! Зима, а он, родненький, босиком шлепает! На обувку денег нет. Разве сравнишь с Союзом! – Белосельцеву в этих словах показалось искреннее сочувствие к мальчику и острое любопытство к стране, куда его, томского инженера, забросила судьба. Непонимание этой страны, бессознательное над ней превосходство и невыраженное, невольное самоутверждение этого крепкого, сытого мужчины, делегированного могучей державой в отсталое захолустье, пролетающего сквозь это захолустье на скоростной военной машине.

В стороне от дороги, на склоне холма, стояли боевые машины пехоты, развевался красный флажок. Солдаты в панاماх рыли траншеи, таскали бревна и доски. Остановились, оглядываясь на проходившую колонну, и Белосельцев издали старался разглядеть их молодые русские лица, бортовые номера машин, надпись лозунга, укрепленного на дощатом сооружении.

– Застава, – пояснил подполковник Мартынов. – Обустраиваются, утепляются. Сюда дрова и те из Союза забрасываем. Ничего, обживемся. Военные городки построим, пятиэтажки, деревья посадим, жен привезем. Куца Советская Армия приходит, там культура, порядок.

Он по-хозяйски оглядывал проплывавшую мимо заставу, и в его бодром и строгом взгляде Белосельцеву почувствовалось все то же удовлетворение и превосходство сильного, оснащенного человека, оказавшегося, по приказу командования, среди первобытной земли, ошастливливая и очеловечивая эти каменные холмы и отроги.

Все они, сидящие на граненой броне, ухватившись за скобы и выступы, были под покровительством и защитой оставшейся сзади страны, посылавшей им свои силы, направлявшей их, каждого со своим заданием и ролью, в азиатские тревожные дали.

Дорога широкими дугами и поворотами подымалась выше и выше. Склоны по сторонам становились все круче. Небо остывало и леденело. Солнце, опускаясь к вершинам, наливалось краснотой и медью. На синий асфальт ложились фиолетовые тени, солнце на мгновение гасло за кручей, щекам становилось холодно от твердого, летевшего с перевала ветра, а потом из-за горы снова вылетало медно-красное солнце, брызгало негреющими лучами.

Белосельцев, поворачивая лицо во все стороны, изумлялся и восхищался происходившим вокруг переменам. Далекая тусклая гора загоралась вдруг нежным зеленым светом, словно на нее из вечерних небес слетал ангел. Держал в руках изумрудный светильник, подымал его над собой, освещая склон. На соседнюю гору слетал розовый ангел, бесшумный, прозрачный, в развевающихся одеждах. В его руке качался розовый светильник, озарял вершину нежным стеклянным светом, от которого черный и грубый камень становился ледяным и прозрачным. Третий ангел, золотой, опустился на острый пик, колебался на нем, превращал его в

слиток золота, и это золото текло по склонам, его становилось все больше и больше, и навстречу ему уже летел голубой дивный ангел, усаживался на темный утес. Горы пламенели, переливались, гасли и вновь загорались, словно ангелы перелетали с вершины на вершину, менялись местами, освещали друг друга светильниками, подавали друг другу знаки. Их полет, их игра, их таинственное появление на исходе дня изумляло Белосельцева. Они не замечали людей, были заняты только собой, танцевали в каменеющих меркнущих небесах. Вдруг все разом взлетели и исчезли, скрылись за туманным гребнем. Лишь одна островерхая далекая гора тлела малиновым светом, словно ангел на ней задержался, превратил ее в остывающий уголь.

Белосельцев беззвучно молил, чтобы ангел не улетал, обратил на него внимание, склонил к нему дивный лик. Поведал, что ждет его в чужой азиатской стране. Сохранил и сберег среди странствий. Гора погасла. Ангел ее покинул. «Бэтээр», шелестя колесами, мчался в темных горах.

Глава четвертая

Они остановились на ночлег у одной из придорожных застав. Расставили трактора по обочинам, под охраной пулеметов и пушек. Водители-афганцы вырыли лунки в земле, запалили неяркие камельки. Кипятили воду, ломали хлеб. В свете красноватых огней были видны их крупные носы, черные бороды, длинные осторожные пальцы, передающие хлеб.

Мартынов приказал солдатам вскипятить воду. Сидя на бушлате у резинового колеса «бэтээра», они жевали галеты, запивали кипятком, согревали свои застывшие на ночных сквозняках тела. Их сблизил эти сотни километров, проделанных по афганской земле. Сайд Исмаил был хозяин, но одновременно и гость, чувствовал свою зависимость от пулеметов, от запыленной брони, от глазастых, мерцавших в темноте тракторов. Белосельцев угадывал эту зависимость, и ему было неловко. Хотел исправить эту неловкость сердечным словом.

– У вас есть семья, дорогой Сайд Исмаил? Вас, наверное, ждут и волнуются?

– Мой семья Герат. Жена, две дочки и сын. Очень хороший девочка, мальчик. Давно не видал. Давно не ездил Герат.

– Хочу побывать в Герате. Много читал, видел фотографии крепости, Пятницкой мечети, мазара Алишера Навои!

– Герат хороший, красивый! – заулыбался Сайд Исмаил, благодарный Белосельцеву за возможность произносить имя родного города. – Поедем с вами Герат. Будете мой гость, самый дорогой. Когда я был Союз, был ваш гость. Очень хорошо относились. Советский люди хороший. Плохо говорю по-русски! – он виновато улыбался, показывая на свои оленьи сиреневые губы, и Белосельцев был доволен тем, что сделал афганцу приятное. Хвалил себя за эту невинную хитрость.

Они улеглись в «бэтээре» на днище, подстелив под себя тощие затоптанные матрасы, напялив все теплые, взятые в дорогу одежды. Прижались друг к другу боками и, укрытые броней, затихли. Белосельцев, чувствуя с одной стороны дышащего Нила Тимофеевича, а с другой Сайда Исмаила, заслонявшего его от железных, проникающих сквозь броню сквознячков, вспомнил перед сном одной общей мыслью – синий, вмазанный в глину изразец, мальчика в красной шапочке, увешанный блестящими грузовиком и ангелом, перепархивающих, словно бабочки, с одной горы на другую. И моментально уснул. Сон его был темный, без картин, как наброшенный войлочный полог, под которым медленно, собираясь из светящихся песчинок и точек, возникало сновидение.

Склон, каменистый, шершавый, с сухой красноватой травой. Склон перерезан дорогой, еще и еще раз спускавшейся к горной реке. Вода блестит, отражает тусклое солнце, поворачивает за соседнюю гору. На склоне пасется животное – одинокий белый ослы. Опустил к земле голову, поедает сухие травы. Кругом ни души – ни селения, ни следа человека, словно этот ослы поставлен здесь от начала времен, поджидает его, Белосельцева. И от этого тревога, желание приблизиться, разглядеть поближе животное. Он спускается по откосу к ослы. Тот увеличивается, отчетливо видны его белые бока, длинные чуткие уши, выпуклые крепкие губы, срывающие траву. От ослы исходит свечение, воздух вокруг головы и согнутой шеи наполнен серебристым сиянием. И от этого странно и больно. Он тянет руки к животному, помещает их в свет, видит свои худые, озаренные пальцы. И просыпается с колотящимся сердцем.

Черный короб стальной машины. Ледяные сквознячки. Спящие на днище люди. Исчезающее облачко света – остатки его сновидения.

Белосельцев, встревоженный, недоглядев вещий сон, лежал, чувствуя над собой глухие плиты брони. Его жизнь, отделенная от внешнего мира, была самодостаточна, предоставлена себе самой, несла в себе свое начало и свое завершение. Недавний сон, его таинственный вещий

смысл, был рожден в сердцевине сознания, как зародыш в яйце. Стальное яйцо «бэтээра», вялый сонный белок его жизни, тягучий желток сознания, и зародыш будущей смерти, окруженный бледным сиянием, – пасущийся на склоне ослытя.

Ему стало тесно, страшно. Он задышался, завинченный в стальной гроб «бэтээра». Приподнялся, стараясь не потревожить соседей. Стал шарить над головой, нащупывая люк и железные сочленения замка. Повернул рукоять, откинул тяжелую крышку. И в круглое отверстие люка опрокинулась на него сверху сверкающая ледяная струя, будто кто-то вылил на него черное блестящее ведро, полное звезд. Звезды окатили его, ослепили, он задохнулся от холода, неисчислимого белого, голубого мерцания. Стоял на коленях на днище, глядя в очерченную кругом бездну, и эта бездна дышала, росла, наливалась в люк все новые созвездия. Стальное, закупорившее его яйцо лопнуло, и он вырвался в мироздание.

Белосельцев сидел на броне, держась за холодную росистую крышку люка. Запрокинув лицо, смотрел на азиатское небо, и оно, иное, нерусское, с иным орнаментом звезд, яркостью и силой светил, восхищало его. Было небом иной страны. Бесчисленными ударами звезд, прикосновением лучей, росчерком метеоров сотворяло под собой иную жизнь и судьбу. Иные люди жили под этими звездами в своих глинобитных жилищах. Иные молитвы звучали под этим небом в лазурных мечетях. Иные сказания помнили старцы, накрытые белой чалмой. Иные кости истлевали в древних мазарах под россыпями разноцветных созвездий.

Он сидел на броне, и небо Востока накрыло его своей мерцающей тайной, сулило бесконечное бытие и бессмертие.

Восхищенный, верящий, ожидающий для себя здесь, на Востоке, неизбежное, уготованное ему чудо, Белосельцев опустил в люк. Сквозь круглое отверстие из неба, как из зеркала, смотрело на него его собственное, отпечатанное в звездах лицо. Задрал крышку, на ощупь пробрался на место и лег, слыша близкое дыхание товарищей.

Он быстро заснул, отпуская от себя сочное сияние звезд, словно укрылся плотным войлоком. Под темной кошмой, в закупоренном яйце сновидений, из крохотных пылинок и точек стали возникать и светиться склон с красноватой травой, каменистый изгиб дороги, бегущая под солнцем река, и на склоне, окруженный туманным светом, пасется ослытя. Поджидает Белосельцева, поставленный здесь с незапамятных библейских времен.

С утра продолжали движение. Погода испортилась. Дул твердый холодный ветер. Лысые склоны, ободранные острые камни выглядели жестоко и дико. Дорога шла в горы, моторы натужно гудели, и сердце чувствовало высоту, начинало стучать. Казалось, горы не пускали колонну, возводили навстречу уступ за уступом, выставляли перед ней не-пускающие каменные ладони. Белосельцев ощущал сопротивление гор, не желавших его продвижения. Чувствовал отторгающую силу, запрещающую его появление. Нахохлившись, уцепившись за ствол пулемета, поворачивал ветру бок, видя, какая сизая, обветренная щека у Нила Тимофеевича, какой лиловый опухший от холода нос у Сайда Исмаила.

– Саланг задышал, – сказал подполковник Мартынов, озабоченно всматриваясь в синюю, окутанную гарью колонну. – Как еще нас встретит Саланг!

Ветер дул острый, колючий. Срезал с окрестных гор режущие каменные песчинки. Колол лицо, норовил ударить в зрачок. Вершины были мутные, дымились. В сером прахе Белосельцеву чудились остатки костей, крошки исчезнувших крепостей, ржавчина мечей и кольчуг, частицы позолоты. Все, что осталось от армий, караванов, нашествий. От паломников и царей, дервишей и купцов, разбойников и пророков. От всех, кто шел на Восток, оседая на окрестных горах тусклой каменной пылью. И он, вслед за ними, исчезнувшими, разведчик, офицер, путешественник, идет караванным путем.

– Саланг Дедушка Мороз живет! – пытался улыбнуться одеревенелыми губами Сайд Исмаил, словно извиняясь за этот холод и ветер, докучающий званым гостям.

Внезапно пошел снег, сразу за поворотом горы, словно здесь, среди белых склонов, он шел всегда, и они покинули область красной колючей пыли и въехали в мир белого влажного снега. Он падал густыми хлопьями, ложился круглыми купами на черные камни, и в камнях вдруг открывались черные очи, горбатые носы, открытые рты. Снег был на фуражке Мартынова, шапке Сайда Исмаила, кепке Нила Тимофеевича. Он запечатывал глаза Белосельцеву, словно ему надевали слепую повязку. Склеивал белым пластырем губы, чтобы он не мог говорить. Норовил залететь в рот, забить его тугим белым кляпом. Снег тоже был послан с горчье-то запрещающей волей. Колонна с трудом прожигала снегопад горячим рыком моторов, плавила его на синих капотах тракторов, на зеленой броне «бэтээров».

– Слепота такая, как бы в пропасть не съехать! – опасливо сказал Нил Тимофеевич, пожалевший, что оказался вдали от дома, от проверенных надежных дорог. Вручил свою жизнь молодому, в танковом шлеме водителю, который, включив огни, рывками двигал машину в непроглядной метели.

Снег перестал, словно подняли ввысь белый пахучий занавес, и они снова оказались среди камней и откосов. Эти откосы теперь были глыбами стекла, сверкали на тусклом солнце. Красные граниты, зеленые валуны, рыжие песчаники были в коросте льда. Бетонка извивалась стеклянной струей, и машины скользили по ней, сползали к обочинам, наезжали одна на другую. Колонна ломалась, сплющивалась. Водители выскакивали из тракторов, кричали, махали руками. Мартынов зло кричал, сжимая тангенту. Рассылал команды, проклятия. «Бэтээры» подруливали к буксующим машинам, брали их на трос. Сами буксовали, елозили. Будто кто-то невидимый хохотал над людьми, лил под колеса скользкое стекло, покрывал дорогу тонким сверкающим льдом. Вышло солнце, растопило лед. Повсюду текли ручьи, слепили глаза. Машины снова почувствовали колесами шершавый бетон. Выстраивались в колонну, продолжали движение.

У туннеля Саланг, двойной дыры, пробитой в граните, была пробка. Скопились войска, крытые брезентом фургоны, цистерны наливников, КамАЗы с зарядными ящиками, разрикованные короба афганских автобусов, платформы с тягачами, на которых, развернув назад пушки, стояли танки. В дырах туннеля выл ветер, летела черная гарь. Регулировщики в красно-белых касках ошалело махали жезлами. Как погонщики, направляли в туннель клубящиеся железные стада. Машины с ревом уходили во тьму, затаскивали за собой дым, проталкивались сквозь гору, набивали ее сталью, снарядами, авиабомбами. Казалось, вот-вот гора взорвется, поднимется на дыбы, разлетится в разные стороны страшным ударом.

В эту узкую горловину из одной половины земли в другую протискивалась война. Огромная, непомерная, в узком туннеле, сжималась в сверхплотный жгут, пронизывала гору как угольное ушко. По другую сторону вновь расширялась, распускалась дымным розовым облаком, из которого вылетали ввысь самолеты, расплзались танки, разбегались во все стороны пехотинцы.

Так чувствовал Белосельцев этот горный перевал, каменный туннель, в который предстояло ему нырнуть. Множество людей с напряженными лицами смотрело в клубящийся черный прогал, где исчезали машины, крутились гусеницы, мерцали рубиновые хвостовые огни. Ждали своей судьбы, гадали о своей доле.

И когда наконец их колонна двинулась и вокруг померкло, загудело, понесся рваный свистящий ветер, белый круг света стал удаляться, уменьшаться и гаснуть, Белосельцеву показалось, что в гудящую трубу над его головой ворвались, помчались, раскрывая секущие крылья, незримые духи войны. Обгоняли его, летели вперед, трубили о его, Белосельцева, приближении.

По другую сторону туннеля открылись перламутровые горы, розовые, застывшие у вершин облака, далекий синий ледник, как прозрачное стеклянное диво. Каменное притяжение

хребта уменьшалось, дорога длинными изломами снижалась в долину, ущелье, по которому катила колонна, медленно нагревалось.

– Это что? Флаг? – Нил Тимофеевич крутил головой, показывая на придорожную грудку камней, из которой торчала корявая палка с зеленой развеянной тканью.

– Такой могила, – пояснял Сайд Исмаил, оттаивая после высотной стужи. – Святой человек, старик. Народ приходи, молись.

Белосельцев провожал глазами отлетающую зеленую тряпицу, под которой почивали кости местного целителя и пророка, пропустившего их в заповедную долину Востока.

Откосы гор открывались перед ним, как страницы огромной книги. Кто-то медлительный, терпеливый, как школьный учитель, перелистывал учебник. Показывал то картину кишлака с лепными сотами домов и дувалов. То клеточки полей, зеленых, черных и красных. То корявый, возросший на уступах сад, безлистный, с оранжевыми плодами в черных суках. Внизу, под откосом, кипела река, бурлила на перекатах. Белосельцев заметил с брони омытый водою камень и присевшую на нем верткую птицу с хохолком и зеленой грудью. Ему вдруг захотелось сойти с машины, опуститься к воде, в перепутанные черные травы, пахнущие, нагретые солнцем. Достать сачок и, быть может, на этой зимней, прогретой солнцем земле поймать маленькую, черно-красную бабочку. Чтобы после, в Москве, раскрыть жестяную коробку, увидеть под лампой резные крылья, крохотные застывшие усики, твердое недвижимое тельце. Вспомнить это ущелье, прилепившийся на круче кишлак и Сайда Исмаила с улыбающимися, мягкими, как у оленя, губами.

– Восток любит деньги, а понимает силу, – рассуждал подполковник Мартынов, продолжая вслух какую-то свою армейскую мысль. – Я в Киргизии служил, под Фрунзе. У нас в гарнизоне гражданский киргиз служил, на водовозке работал. За деньги попросишь сделать, пообещает, не сделает. А кулак покажешь, мигом исполнит! – Белосельцев рассеянно внимал его философии. Вниз под уклон двигалась синяя, нарядная колонна тракторов. Мимо, за обочинной, проплывал кишлак – высокие, крепко слеplенные дувалы, гончарные купола, крохотные в стенах бойницы. Женщина в парандже двигалась по тропинке, покрытая с головой, в развевающейся пышной накидке. Белосельцев угадывал, что она молода, движения ее были грациозны. Он старался углядеть под тканью ее грудь, колени, сухие быстрые щиколотки. – Сюда ввести не одну, а две-три армии. Тогда будет полный порядок. Ни выстрелов, ни бузы. Восток понимает силу!

Выстрелы прозвучали внезапно из-за желтой стены кишлака. Сквозь рокот моторов, посвистывание ветра продолбили, прогрохотали винтовки. Белосельцев видел два дымка из бойниц. Ему померещился слабый металлический луч, скользнувший по стволу. Один из тракторов завиял, выехал из колонны, покотился не к пропасти, а к взгорью. Завалился в кювет и лежал там, крутя колесами, как перевернутый беспомощный жук.

Колонна, разорванная, потеряв интервалы, продолжала уходить. Перевернутый трактор крутил колесами, и в кабине виднелся недвижимый, с отпавшей чалмой водитель.

– Пулеметчик!.. – орал Мартынов. – Где пулемет, твою мать!.. Лупи по стене!..

Разрывая воздух, выбрасывая из раструба пульсирующее пламя, прямо у виска Белосельцева забил пулемет. Заложило уши. По лицу ударили горячие тугие пощечины. Белосельцев прижался к броне, видя, как на желтой стене задымилась черта, проделанная очередью.

– Коробкам стоять!.. – командовал Мартынов по радиции. – Работать по кишлаку!.. Группа поддержки, ко мне!..

Снизу, из-за выступа горы, вернулись два «бэтэра». Налетали на скорости, и их пулеметы начинали стрелять на ходу. Пускали в кишлак разорванные длинные трассы. Скрещивали их, разводили. Вбивали в купола и дувалы стальные штыри. Глина дымилась, ловила раскаленные сердечники. Эхо выстрелов трескуче летало в горах.

Пулеметы смолкли. Мартынов с автоматом спрыгнул на землю. К нему от «бэтээров» бежали солдаты.

– Прикрой!.. – приказал он пулеметчику. – Я им, сукам, башку расшибу!..

Он кинулся наверх к кишлаку, увлекая солдат. Белосельцев и Сайд Исмаил побежали следом. И мгновенная мысль на бегу: «Убьют!.. Вот сейчас убьют!.. Солнце, крутая тропа, и пуля в лоб!..» Эта мысль о смерти была страхом, и радостью, и молитвой, и молодым удалством, и верой, что он уцелеет. Без оружия, ударяя в тропу башмаками, он бежал за Мартыновым.

Солдаты добежали до рыжей глиняной изгороди, в которую была вмазана деревянная линияло-голубая дверь. Мартынов, воздев автомат, прижался спиной к стене, азартный и злой. Пулеметы «бэтээров» рвали солнечный воздух, пуская трассы над сирым кишлаком. Мартынов крутанул головой, показывая солдатам на дверь. Двое, грудастых, в панاماх, набежали на дверь, ударили разом, вышибли ее с белыми щепками. Кубарем вкатились во двор, отпрыгивая в разные стороны, готовые поливать автоматами. Следом за ними в пролом втянулись другие солдаты, кинулся Мартынов и последними, безоружные, вбежали Белосельцев и Сайд Исмаил.

Двор был тесный, сухой, гладко выметенный. Посредине был сооружен очаг с висящим котлом и холодным костровищем. Возвышалось сухое, с ободранной корой дерево, отбрасывающее корявую тень до самого дома, до деревянной веранды, на которой лежали несвежие тюфяки и темнела открытая дверь, уводившая в дом. Под деревом, на низкой скамеечке, сидел старик, белобородый, с заросшим, как у льва, волосатым лицом, в скомканной рыхлой чалме и накидке, намотанной комьями на сутулые плечи.

Солдаты окружили старика, наклонив к его голове автоматы. Другие кинулись вдоль стены, сквозившей маленькими солнечными бойницами, откуда прозвучали винтовочные выстрелы. Третьи бросились к дому, и не входя, наставили оружие в темный проем дверей. Мартынов, потный, гневный, стискивая кулаком цевье автомата, надвинулся на старца:

– Кто стрелял?... Говори, башку расшибу!..

Старик не понимал, не реагировал на его гнев, на близкие, нависшие над его головой стволы.

– Говори, хрыч!.. Вздерну тебя на дереве, как собаку!..

Старик молчал, шевелил в бороде невидимыми губами, сквозь седину просвечивало его сморщенное, красное, как обожженная глина, лицо.

– Он не понимает!.. Он не стрелял!.. – Сайд Исмаил протягивал руки к Мартынову, словно умолял пощадить старика. Обращал свои ладони к солдатам, будто отодвигал автоматы от чалмы и седой бороды. – Уважаемый, – обратился он к старику на фарси, и Белосельцев, впервые за путешествие слышал, как говорят между собой афганцы, какое сочувствие и почтение звучат в словах Сайда Исмаила. – Из твоего дома стреляли из винтовки, и на дороге убит человек. Скажи, кто здесь был?

– Чего ты его упрощиваешь!.. Вздерну, как старого кобеля!.. – нетерпеливо топтался Мартынов, оглядывая двор и глухие стены, откуда, сквозь щели и дыры, могли прозвучать новые выстрелы.

– Здесь были чужие люди, – сказал старик, показывая пустые беззубые десны и мокрый стариковский язык. – Пришли пять человек. Всех, кто был, прогнали из дома. Сказали, кто не уйдет, убьем. Так нужно Аллаху. Мои ноги болят, не могу ходить. У них были винтовки «бор». Они стреляли и ушли туда, – старик вытянул из-под накидки длинную руку с черной, скрюченной пятерней и слабо ткнул в глиняную стену на другой стороне двора, за которой скрылись стрелки.

Белосельцев вслушивался в его речь, стараясь понять знакомые слова фарси, искаженные местным наречием и стариковскими шепелявящими губами. Сайд Исмаил перевел Мар-

тынову, указав число пришельцев, марку старых английских винтовок «бор», умолчав о воле Аллаха.

– Кто такие?... Откуда бандиты? – допрашивал Мартынов, с недоверием, почти враждебно слушая Сайда Исмаила. – Если бы нашего солдата убили, повесил бы его, как собаку! Кишлак его вшивый сжег!.. Так ему и скажи!..

– Уважаемый, кто были эти чужие люди? – Сайд Исмаил не пропускал к старику жестоких угроз Мартынова, останавливал их на себе. Защищал старика своими учтивыми вопросами, полупоклоном, жестом длинных смуглых пальцев, которые прижал к груди. – Убили нашего человека. Добрый, мирный человек, – в голову, вот сюда! – он прижал к своему виску длинный коричневый палец.

– В кишлак приходят чужие люди с «борами». Их послал Ахмат Шах. Вчера было четверо, сегодня пять. Всех, кто был в доме, прогнали. Меня бить хотели, винтовку показывали. Я ходить не могу. Сказал им: «Пусть будет так, как хочет Аллах!»

Сайд Исмаил перевел Мартынову, опять умолчав об Аллахе. Подполковник терял интерес к старику. Зорко, тревожно оглядывал кромки дувала, деревянный навес крыльца, вход в глубь дома, откуда грозила опасность.

Белосельцев, пережив недавнюю опасность, азартное возбуждение бега, испытывал теперь новое, сложное, из множества переживаний, чувство. Силой оружия, под прикрытием вороненых стволов он ворвался в дом. Проломил хрупкую преграду, заслонявшую чужой очаг и порог. Проник сквозь запретную завесу, заслонявшую сокровенный уклад, недоступный постороннему взгляду. Он, чужак и пришелец, под защитой «бэтээров», посылавших в небо грохочущие очереди, оказался в центре мирка, куда в иное время путь ему был заказан. Война и насилие проложили ему дорогу. Оружие растворило двери. И он увидел то, что иначе было невозможно увидеть.

Это насилие, частью которого он был, смущало его, порождало чувство вины. И оно же, насилие, было для него инструментом познания, быстрым и экономным средством исследования. Насилие, как скальпель, разрезало покров, и в несколько первых мгновений можно было понять и увидеть, как устроены сокрытые органы, размещены сочленения и ткани. Запечатлеть их молниеносным взглядом, пока разрушение еще не накрыло их волнами боли и крови.

В углу двора были сложены разрубленные корявые поленья, уложены бережно и накрыты ветхой циновкой. Тут же стоял кетмень с отшлифованной рукоятью и кованым, отточенным острием. В другом углу, такой же аккуратный, покрытый, круглился стожок темного сена из высохших горных трав и там же прилепился к оgrade лепной, с залысинами хлев, из которого едва заметно струилось живое тепло от притаившихся пугливых овец. В нише стены, словно на лежанке русской печки, валялось красное стеганое одеяло, стояла керосиновая закопченная лампа и лежала рукодельная, из деревяшек и тряпочек, детская игрушка. На деревянной веранде среди ветхих покосившихся столбиков было развешено женское белье – еще влажные, сочно-малиновые юбки, прозрачно-розовые рубахи и ленты, и эта присутствующая здесь женственность волновала Белосельцева. Там же, под навесом крыльца, висела плетенная из прутьев клетка и в ней, как цветной огонек, металась птичка.

Дверь в дом была открыта, наполнена смуглым сумраком, и если войти, то увидишь горницы, расписанные восточные сундуки, выложенную цветной шерстью кошму и какой-нибудь старый ржавый клинок на стене.

Насилие, которое провело их беспрепятственно во внутренний домик, могло провести их и дальше, в покои крестьянского дома. Но Мартынов крикнул солдатам:

– Отставить!.. Пошли отсюда!.. – повернулся к Сайду Исмаилу и, не глядя на старика, произнес: – Скажи ему, если б хоть кто-нибудь из солдат пострадал, я бы его тут же пристрелил во дворе! – повернулся и пошел прочь, опустив автомат, усталый и слегка прихрамывающий.

Сайд Исмаил наклонился к старику:

– Уважаемый, пусть будет мир в твоём доме, а тебе сопутствует долголетье!

– Как захочет Аллах, так и будет, – сказал старик беззубым ртом, едва кивнув своей львиной заросшей головой.

Белосельцев, ступая за Саидом Исмаилом, покинул жилище. По склону спустился к трассе.

Колонна, разрозненная и смятая обстрелом, собралась и выстроилась вдоль обочины. Опрокинутый трактор был поднят, возвращен в строй. Водители-афганцы очищали его от пыли, промывали его царапины и вмятины. На стекле дымчатым одуванчиком белели трещины, окружавшие пулевое отверстие.

На сухой обочине лежал убитый водитель. Его длинные костлявые ноги, обутое в стоптанные башмаки, вылезали из штанов, и на них темнели редкие волоски. Руки с длинными коричневыми пальцами были вытянуты по швам, словно он лежал по стойке смирно, ожидая приказаний. Чалма отвалилась, напоминала скомканное грязное полотенце, и на смоляной голове виднелась маленькая смуглая лысина. Горбатый нос крупно торчал на лице, и на щетинистых фиолетовых губах образовались ямины. На костяном лбу, между синими, разведенными бровями кровяная дыра, и густая малиновая кровь, брызнув, как варенье, глянцевиито блестела.

Белосельцев подходил к убитому, видя грязную ткань чалмы, стоптанные подошвы, тень на щеке от торчащего горбатого носа и застывшую, как красный лак, блестящую кровь. Пространство вокруг убитого вдруг стало стекленеть и сгущаться, как студень. По нему пробегали вязкие волны. Лица людей, синие трактора, бруски «бэтээров», желтый гончарный кишлак, окрестные горы стали волноваться, как водяное отражение, и Белосельцев, теряя сознание, падал в мягкое и бесцветное.

Очнулся от шлепков в лицо. Мартынов наклонился над ним, хлопал его по щекам тяжелой ладонью.

– Ну вот, глаза смотрят! – сказал офицер, распрямляясь.

– Не знаю, что со мной... – виновато сказал Белосельцев, приподнимаясь с земли.

– Дело обычное, – сказал Мартынов. – На кровь посмотрел, она и опрокинула. С непривычки на кровь нельзя смотреть. Ее природа нарочно в темноте, в венах держит. Кто на нее на свету посмотрит, того она бьет, – и, отворачиваясь от Белосельцева, приказывал командирам машин: – Продолжать движение!.. При подходе к кишлакам предупредительную очередь в воздух!.. В случае обстрела по площадям из всех пулеметов!.. По машинам!..

Они двигались дальше по солнечному сухому ущелью. Белосельцев сидел на броне, размышляя над тем, что случилось. Кто тот, невидимый, что нанес ему сокрушительный бесшумный удар, уложил на каменистую землю. Остановившись, не пускал. Запрещал видеть и знать. Предупреждал о какой-то запретной тайне. О громадной, его поджидавшей опасности. Он, Белосельцев, пренебрег этим знаком. Не остановился на невидимом рубеже. Снова сидел на броне, катился в солнечном ветре мимо осыпей, круч и распадков. Вторгался в азиатскую, пропитанную красными отсветами землю, словно горы, откосы, сухой бурьян на обочине были обрызганы гранатовым соком.

Трасса, цепляясь за горы, быстро сбегала вниз. И возникла легкость, как при свободном падении. Будто ослабели невидимые, удерживающие крепки, развязались тугие узлы, и земля своим притяжением увлекала колонну вниз, пронося ее мимо разноцветных склонов, лепных кишлаков, безлистных ржаво-красных садов. Долина, еще незримая, тянула к Белосельцеву свои руки, влекла к себе, и он, одолев преграды, избегнув опасности, освобожденный, стремился в долину, предчувствуя ожидавшее его чудо.

На выходе из ущелья, где распахнулись горы и в солнечном тумане раскинулись клетчатые поля, – черная, отдохавшая под солнцем пашня, изумрудная озимь, красные колючие

комья виноградников, среди которых слюдяными струйками вспыхивали арыки, – встретил их Джабаль Усарандж. Словно они вкатили на яркий восточный рынок с горами яблок и апельсинов, торговцами посудой и шелком, медным блеском, звоном и визгом дудок. Белосельцев с брони жадно смотрел на смуглых краснокожих мужчин в белоснежных накидках, на бегущих нагруженных осликов, на верблюдов, навьюченных полосатыми тюками. Городок исчез также быстро, как и возник, словно его сдуло ветром и он пестрым комом улетел в синеву. Они катили по ровной дороге среди расступившихся гор.

В отдалении тенистыми отрогами, как огромные, на толстых столбах ворота, обозначилось ущелье Бамиан. И он вспомнил генерала, его последнее желание оказаться в Бамиане, у подножия каменного великана, и увидеть уходящие ввысь огромные плечи и грудь, полузакрытые глаза и улыбку исполинского Будды – желтый, высеченный из песчаника лик в небесной бирюзе.

Городок Черикар прозвенел, промелькал, словно «бэтээр» проехал сквозь гулкий бубен, сквозь колокольчики, пестрые ленты, звонкую натянутую кожу. И опять мягкая, голубая, туманная, потянулась долина, дремлющие сады, ленивые арыки, и на далекой вершине, как ее зубчатое завершение, парил замок – крепостные башни, уступы стен, таинственное прибежище нетронутого временем уклада, куда стремилась молодая ищущая душа Белосельцева.

Миновали Баграм, и над трассой, косо, мощно, на двух белых острых огнях, прошли штурмовики с красными звездами. Рубанули воздух коротким ревом. Удалялись, плавно разворачивались, как в парном катании, оставляя матовые дуги.

К вечеру на развилке дорог колонна разделилась. Трактора сомкнутым строем двинулись к югу, в Джелалабад, где уже начиналась пахота и новая власть раздавала землю крестьянам. Бронегруппа с Мартыновым скорым ходом пошла на Кабул. Советник Нил Тимофеевич, партиец Сайд Исмаил и он, Белосельцев, на головном «бэтэере» неслись в вечернем прохладном ветре, пахнущем сухой листвой, сладким дымом жилищ, горной водой, и ему казалось, что он прижимает к губам холодное красное яблоко, вдыхает его ароматы.

Кабул они увидели вечером, внезапно, словно чья-то огромная могучая ладонь подбрала «бэтэеры», как семечки. Перенесла их в город и бережно высыпала посреди тесных улиц, мечетей и лавок, окружив огнями, звоном и музыкой. Там, где катили «бэтэеры», было тесно. Мелькали бороды, лица, накидки. Лавки, озаренные, как фонари, светились товарами, рулонами тканей, горами изюма, множеством рукодельных предметов, которые не успевал разглядеть глаз. Возникали – торговец перед медными чашами весов, брадобрей, кидавший мазки белой пены на горбоносое волосатое лицо, водоноша, сгибавшийся под тяжестью скользкого раздутого бурдюка. Вечерняя толпа валила по улице, под навесами в чайхане сидели люди в тюрбанах, пахло горячим хлебом, смоляным дымом, жареным мясом. Все это было внизу, на вечерней кипящей улице.

Но выше, над толпой, над крышами магазинов и лавок начиналась тьма, забрызганная множеством желтых живых огоньков, уходящих вверх. Словно в склонах горы были выдолблены ниши и в них поставлены лампы, светильники, стеариновые огарки. С каждым из этих огоньков была связана незримая жизнь, наполнявшая гору. Гора была полой, населена неведомыми существами, и если присмотреться, то вдруг открывалась улица, уходящая вверх, на ней вдруг мелькала фигура, скользил луч фары. Город отрывался от долины, превращался в долбленную, населенную гору, был огромной таинственной катакомбой.

Выше, над черной, забрызганной огоньками кручей, серебрились усыпанные снегом, в голубых последних лучах, остроконечные пики, драгоценно сиявшие в бездонной лазури. В холодной синеве одиноко и прозрачно сверкала звезда, как драгоценная морозная капля. «Звезда Кабула» – так назвал ее Белосельцев, восторженно и страстно взиравший на звезду.

Город, куда привела его длинная, полная опасностей и приключений дорога, казался ему таинственным и одновременно родным. Словно он уже бывал здесь однажды, в иных воплоще-

ниях и жизнях. Странно знакомыми и родными казались ему озаренные лавки, чернородые лица, слабо освещенные, уводившие в гору улицы. Он уже видел когда-то эти маслянистые огоньки на горах, эти серебристые снежные пики, влажно мерцающую одинокую звезду. Быть может, он жил в этом городе, сидел в дукане перед грудой черного чая, кидая на медное блюдо душистое зелье. Или, сгибая спину, нес отекающий тяжелый бурдюк с водой. Или в одеянии дервиша стоял перед минаретом слюдяной, глянцевитой мечети. Или в колонне восточных воинов, в золоченом доспехе, качался на спине боевого слона.

Город был странно знаком, явился из детских снов, из таинственных глубин родословной. И теперь они встретились – он и Кабул, он и Звезда Кабула. Сидя на броне «бэтээра», вторгаясь в глиняный и деревянный восточный город, он знал, что добирался к нему через множество прожитых жизней. Их встреча сулит ему неведомое, еще безымянное, но скорое и неизбежное чудо.

Часть вторая

Глава пятая

Генерал в отставке Белосельцев смотрел на бабочку, на ее волнистые узоры, из которых он, как из разноцветных волн, вынырнул обратно в зимний московский день, покинув бездонное прошлое, где растворились бесследно его исчезнувшие силы и чувства. Остро, словно проведенную линию, он ощутил свою жизнь с той точки, когда она появилась среди необъятного света, тянулась, как струна, наполненная гулом и звоном, а потом исчезала, уходила обратно во тьму, из которой вышла. Мгновение, в котором он пребывал, находилось у самого конца этой проведенной завершаемой линии. Оставался убывающе малый отрезок, и прежде чем он оборвется, надо было успеть совершить последнее в жизни открытие – понять, что она есть, эта жизнь. Откуда и кем выпущена в ослепительный свет. Куда и к кому возвратится, погружаясь во тьму.

Ему казалось, что его утомленное тело, перегруженное усталостью, с негибкими одряхлевшими мускулами, изношенными от долгой работы органами, таит в себе накопившуюся болезнь. Она, безымянная, притаилась в нем, как нечто глухое, угрюмое, направленное против него. Проникла вглубь, спряталась в сплетении сосудов, в зарослях волокон, среди шорохов и биений. Устроила засаду в сумерках бытия. И в любой момент прынет, опрокинет, станет рвать горло, выплескивать из него вместе с черной дурной кровью самую жизнь. И тогда не останется времени думать, а, лежа на больничной койке, в набегающей слепоте, среди тусклого мерцания капельниц, испускать дух, растворяться в черной кислоте небытия.

В жизни, которую он завершал, обрывалось множество состояний, страстей и задач, заслонявших его от главной, окончательной и покуда не решенной задачи. Среди этих временных, предварительных увлечений и целей, занимавших основное протяжение жизни, полностью отпали, как блеклые перегнившие корневища, его служение в разведке, ибо исчезла страна, посылавшая его в опасные странствия. Его ненасытная жажда познаний, ибо были прочитаны основные, написанные человечеством книги, осмотрены мировые дворцы и храмы, освоены философские и научные теории. Утолено любопытство к людям, ибо среди бесчисленных встреч, необычайных дарований и характеров выявилась повторяемость человеческих типов, предсказуемость их ролей и поступков. Погасли страсти и похоти, увлечения женщинами, ибо с каждой новой любовью остывало и меркло горевшее в нем солнце, и там, на небе, где еще недавно пылало дневное светило, теперь чуть теплилась печальная сумрачная заря с черными вершинами осеннего леса. Оборвалась сама собой его давнишняя утонченная страсть – ловля бабочек, за которыми он гонялся по миру, пересекал с сачком пустыни и сельвы, прорывался сквозь саванны и джунгли, уклоняясь от летящих пуль, улавливая в прозрачную кисею божественные существа, как бессловесные ангелы наполняющие мироздания. Он больше никогда не раскроет сачок, на котором высохли капли цветочного сока и зеленая кровь нимфалид, не помчится вдоль океана, выхватывая из соленого ветра лазурных бабочек, не испытает счастливого перебора в груди, когда в руках начинало биться бесшумное диво, уловленное в кисею.

Что же ему осталось на этом последнем, исчезающе малом отрезке струны с затихающим, меркнувшим звуком? Осталось ему драгоценное одиночество, без друзей и без женщин, вне едкой ядовитой политики, в которой растворяются, как в кислоте, все тонкие явления души. Он уедет в деревню, на последние снега, на первые голубые ручьи, под туманные весенние звезды, и там, остывая от накаленной прожитой жизни, поймет наконец, кто Он, пославший его в эту жизнь. В чем Его смысл и закон. Как среди грохочущего, промелькнувшего, будто единый день, бытия он исполнил этот закон. А если не исполнил, то теперь последние, отпущенные ему

часы и мгновения он посвятит познанию закона, станет следовать ему. И, быть может, в этом трудолюбивом и смиренном следовании ему откроется Тот, кто выпустил его в этот мир. Вылил его из ладони бережно, как рыбку, в поток бытия. Скоро так же бережно зачерпнет в свою могучую длань, выхватит из потока, из-под этих звезд и светил, перенесет в иное таинственное бытие.

Эти мысли казались ему сладостными и желанными. Не пугали, а манили его. Смерть, которая должна была наступить, в свете этих мыслей виделась ответственным и важным событием. Это событие касалось его не только здесь, в этой явленной жизни, но и там, за ее пределами, куда он шагнет сквозь смерть, как сквозь открытую дверь.

Если же закон им не будет понят, если Творец не откроет лица и ему после смерти предстоит рассыпаться на множество отдельных безымянных молекул, на крупички костей, на истлевающие обрывки волокон, то все равно, став водой, летучим воздухом, пылинками камня, он сольется с Творцом, останется в его воле и власти.

Он смотрел на джелалабадскую бабочку, на ее золотисто-песчаные крыльца, на черные оконечности с бело-жемчужными пятнами. Крылья начинали вибрировать, орнамент двоился, и тончайшее, едва различимое дребезжание превратилось в длинный телефонный звонок.

– Виктор Андреевич? – раздался бодрый голос, исполненный доброжелательности и едва уловимой неуверенности. – Ивлев Григорий Михайлович беспокоит... С величайшим к вам уважением!.. Белосельцев, узнавая именитого генерала, думского политика и старого знакомого по афганскому походу, успел изумиться. Безжизненная бабочка загадочно извергала из своих хрупких орнаментов энергии жизни, превращала их в неожиданные звонки, голоса и встречи. – Все время помню о вас, думаю. Чем тяжелее мне, тем чаще думаю. И вот решился вдруг позвонить.

– Я в тишине, на покое, – ответил Белосельцев. – Это вы на виду у всей страны. Боец, воин. Пользуюсь случаем, чтобы выразить вам, Григорий Михайлович, мою солидарность. Солидарность пенсионера.

– Вы знаете, Виктор Андреевич, как я вас ценил и ценю. Как вам благодарен за прошлое. И эта ваша поддержка мне очень важна, поверьте. Не могли бы мы с вами повидаться, переговорить. Я был бы очень признателен.

– Что ж, есть о чем вспомнить.

– И, главное, есть наметки на будущее... Виктор Андреевич, не сочтите за дерзость... Что, если вы сейчас возьмете, да и приедете ко мне в Думу...

Бабочка, пойманная в джелалабадском саду, как малый радар, облучала его. Держала в своем тончайшем разноцветном луче, и он, как самолет, шел по ее наведению.

– Еду, – сказал Белосельцев, не пытаясь сопротивляться. Он был почти лишен воли. Управлялся по автопилоту. Программа полета была нанесена на хрупкие крылья бабочки. Он летел по лучу над желтыми песками пустыни, над черными каменистыми сопками, над белыми солончаками. Сквозь синюю линзу воздуха хотел разглядеть караван с оружием, тонкую веревку верблюдов, – от пакистанской границы в Гельменд, из времен афганской войны в сиюминутное время, среди которого в телефонной трубке замирал голос генерала Ивлева.

Белосельцев помнил их афганские встречи, – Ивлев, молодой подполковник, командир гератского полка, в чьей зоне ответственности Чичагов отрабатывал свои спецмероприятия, стравливая племенных князьков, покупая кого деньгами, кого оружием, сопровождая подкуп вертолетными ударами. Они сидели в командирском модуле, пили спирт. Лицо у Ивлева было измученным, потным среди красных пятен низкого гератского солнца. Они обменялись с Белосельцевым часами, как нательными крестами, и за окнами, в бурунах кирпично-красной пыли прошел танк.

После этого Ивлев надолго исчез из вида, делал карьеру в сибирских глухих гарнизонах. Стал известен стране, когда в проклятую новогоднюю ночь президент бросил войска на Чечню.

Рыхлые полки и бригады необстрелянных юнцов, ведомые случайными, разучившимися воевать командирами, попали под гранатометы чеченцев, превращались в груды горячей брони. Ивлев, молодой генерал, взял управление боем, спас от разгрома армию, овладел столицей чеченцев. Белосельцев помнил на телеэкранах его растрепанные волосы, расстегнутый ворот, забинтованную кисть руки.

Третье явление Ивлева было в политике, когда он, бросив службу, отказавшись от наград президента, стал депутатом Думы. Любимец армии, защитник поправленных военных, открытый и ярый враг президента, он оглашал Думу громогласными речами, становясь с каждым разом все ненавистней и опасней режиму. Слушая его на пресс-конференциях, Белосельцев удивлялся произошедшим в нем переменам, его дерзкому бесстрашию. Сравнивал с собой, со своим молчаливым прозябанием. Корил себя за немощь и слабодушие.

Теперь, согласившись поехать в Думу, он действовал не рассудком, а сохранившейся в нем, не исчезнувшей с годами интуицией, установившей неясную связь между появлением Чичагова, странным знакомством с владельцем казино Имбирцевым и этим звонком генерала Ивлева. Все они ворвались в его жизнь одновременно, как пучок лучей, из единого источника света. И он, состарившийся разведчик, хотел установить точку исхода лучей. Стал собираться в Думу.

Здание на Охотном ряду, тяжеловесное и основательное, как столы и комоды сталинских времен, было запечатлено в его сознание с детства, когда обрызганный, весенний асфальт принимал на себя многоцветные колонны, наполнявшие кумачами, воздушными шарами, медными трубами просторную Манежную площадь. И прежде, чем его детским восхищенным глазам устремиться к Кремлю, к желто-белому, с кружевными воротниками, дворцу, они видели гранитные бруски и тяжелый, вырубленный из камня герб государства у края синего неба. Позже, во все остальные годы, когда в здании размещался Госплан, оно сочеталось с представлением о мощи страны, для которой за этими стенами планировались ракеты, гектары целинных земель, рождение младенцев и средства на спецоперации, к которым был причастен Белосельцев. Отсюда, из-под этого каменного герба, управлялась экономика огромной державы, планировалась будущая жизнь человечества.

Теперь здесь размещалась многошумная и бессильная Государственная Дума, сменившая своими скандалами, суетой и истошными заявлениями упорную, скрытую от глаз работу мозгового центра страны.

Белосельцев шел вдоль фасада в порывах морозного ветра, летящего вверх, к Лубянке. Глядел на бесчисленные, трущиеся друг о друга лимузины, которые тесно в метельном блеске раздваивались на два потока, и один жирно, густо вливался в Тверскую, медленными толчками уходил к Пушкинской, к Белорусскому, к Аэропорту. Другой цепко и непрерывно, словно толпище глянцевиных жуков, карабкался вверх, мимо Большого театра и «Метрополя», спускался к реке, по которой плыли льдины, разбегался по набережным и бульварам.

Перед высоким порталом Думы, у казенных дверей, выстроились два пикета. Держали на ветру загибающиеся листы с транспарантами. Размахивали флажками, одни – красными, советскими, демонстрируя приверженность оппозиции, другие – трехцветными, что выявляло в них сторонников власти. Бумажные транспаранты у обеих партий были похожи, начертаны от руки. И там и здесь их сжимали скрюченные старушечьи пальцы. На одних бумагах было написано: «Слава Железному Феликсу!», «Восстановим памятник Дзержинскому, разрушенный вандалами!». На других – «Нет, красному палачу!», «Большевистский маньяк не вернется на площадь!». Пикетчики в обшарпанных утлых пальто, в продуваемых платках и шапках вяло переругивались, осыпали друг друга негромкой ворчливой бранью. Мимо них из тяжелых дверей время от времени выходили нагретые, в добротных пальто, депутаты. Садились в уютные салоны тяжеловесных «мерседесов» и «вольво», уносились в метель, оставляя на ступе-

нях две противоборствующие замерзающие группки, позволяя их беззубым ртам выкрикивать лозунги, похожие на бумажные цветы в могильных зимних венках.

Белосельцев получил пропуск и оказался под сводами тяжеловесного здания, среди лестничных маршей, просторных вестибюлей, длинных коридоров, в которых когда-то обосновалось первое поколение наркомов, запустивших Красную империю, – грозно, как огромный танк, вползала в двадцатый век, направляя во все стороны света свои калибры. Теперь от неутомимых наркомов остались дубовые двери, медные ручки и высокие потолки, куда упирались четырехгранные колонны и где, казалось, реял синеватый дым папирос «Прима».

Белосельцев не сразу направился к Ивлеву, а прогуливался по коридорам, наблюдая думскую публику, выделяя в ней слои, которые не смешивались, как пресная и соленая вода, существовали отдельно, порождали водовороты, течения, тихие заводы, и он, как малая подводная лодка, прячась в этих турбулентных потоках, видел все, оставаясь невидимым.

Отдельно от всех энергичным, хищным сообществом обосновались журналисты, чуткие, нервные, ожидающие, с металлическими штативами, камерами, гуттаперчевыми микрофонами. Как ястреба, вяло и сонно наблюдали окрестность. Если где-то стороной, быстро, как мышь, пытался прошмыгнуть депутат, они разом вздрагивали, ошестинивались колючими приборами, выставляли металлические когти и клювы, нацеливали электронные глаза. И либо вновь затихали и успокаивались, если добыча оказывалась слишком мелка и несъедобна, либо всем скопищем набрасывались на нее, начинали расклеивать, освещали режущими лучами, окружали черными набалдашниками микрофонов. Пойманный депутат отбивался, лепетал, что-то бессвязно говорил, насыщая прожорливые желудки диктофонов и телекамер, покуда мало-помалу ни угасали рефлекторы, отворачивались окуляры, убирались штативы. Журналисты теряли к жертве интерес, и она, помятая, ошипанная, пробиралась дальше, роняя в коридоре пух.

Другой обособленной популяцией были чиновники Думы, помощники депутатов, секретарши, референты. Как рабочие муравьи, они сновали по коридорам и лифтам, проникали в кабинеты, переносили с места на место бумаги, папки, ксерокопии, словно частички лесного мусора, кусочки хвои, крылышко мухи, капельку вкусного сока. Они были неотъемлемой частью огромного муравейника, придавали ему то размеренное насекомообразное движение, сопутствующее любому крупному учреждению. От них исходил шорох и едва уловимый запах муравьиного спирта. Иногда они сходили со своих муравьиных троп, собирались в уголках мужскими и женскими группами и утомленно курили или пили кофе, демонстрируя усталость и занятость, не умея до конца убрать с лиц выражение утоленной успокоенности и гарантированности.

Посетители Думы, как видел их Белосельцев, были неоднородны и делились на подвиды, каждый из которых действовал по-своему, держался в своей нише, представлял ту или иную часть невидимого, затуманенного, находившегося за пределами Думы населения, что присылало своих ходяков из городов, деревень.

Тут были активные, преуспевающие дельцы, молодые, крепкие, с упрямыми глазами навыкат, в длинных модных пальто, дорогих немятых костюмах. Что-то непрерывно гудели в мобильные телефоны, звенели и потрескивали, как будильники, спрятанными в карманы пейджерами. Явились сюда к депутатам, чтобы продавливать через Думу законы и уложения о покупке государственных заводов и фабрик, месторождений железа и нефти. Приносили тайный компромат на неугодных конкурентов. Обольщали депутатов посулами и вознаграждениями за услуги. Приглашали их в дело и, улучая момент, оставляли у них в руках пухлые конверты. Они кружили на малом пяточке в вестибюлях, стараясь не замечать друг друга, развеивая тяжелые полы своих длинных черных пальто, и от них веяло энергией, коварством и беспощадностью.

Второй подвид посетителей был представлен немолодыми людьми в аккуратных, сильно поношенных костюмах, в старомодных галстуках, которые блестели от частого прикосновения утюга. Они держали в руках туго набитые обшарпанные портфели, обмотанные веревками папки или даже чемоданы с отбитыми уголками и плохо закрытыми замками. На лице у них было одинаковое, вдохновенно-мученическое выражение, как у святых. Они смотрели поверх людей затуманенными глазами, словно шли уже много лет по бесконечной дороге, выискивая за дождями, туманами обетованный храм. Это были ревнители крупных идей и глобальных проектов по спасению государства. Знали, как восстановить Советский Союз, реорганизовать экономику, запустить новые незатратные источники энергии, использовать всемирный закон тяготения, научить оппозицию побеждать на выборах, соединить мировые религии для достижения земной гармонии. Некоторые из них были пророками, ибо им были явлены знания свыше. Некоторые оказывались необычайными изобретателями, открывшими способы управления человечеством. Третьи предлагали себя в качестве президентов, чтобы, заручившись поддержкой депутатов, принести в Россию долгожданный покой и мир. Их было много здесь, в коридорах Думы. Концентрация их была выше, чем в каком-либо ином месте земли. Воздух, который они рассекали своими папками, портфелями, наглаженными до блеска галстуками, чуть слышно потрескивал, как у изоляторов высоковольтной вышки. Казалось, протяни в их сторону незажженную сигарету, и она начнет тлеть и дымиться, как от прикуривателя. Депутаты их знали в лицо и избегали. Секретарши не пускали на пороги приемных. Но они продолжали упорно посещать Думу, перекладывали на коленях желтые листки своих манускриптов, и было видно, что им здесь хорошо.

Третий вид посетителей был представлен людьми в растерзанных одеждах, в грязных пальтушках с расстегнутыми пуговицами, в клочковатых шапках и мятых платках, с потрясенными лицами. Словно все эти люди упали на ходу с поезда, ударились о насыпь, катились кувырком, оббиваясь о камни, продираясь сквозь колючки и кустарники. Поезд ушел, а они, побитые, без вещей, документов, проездных денег, оказались в чистом поле. Добрались кое-как в коридоры Думы, жадно разыскивали кого-нибудь, кто бы их защитил, подал кусок хлеба, денег на дорогу. Это были посланцы разоренной страны, которая от океана до океана выгорала, вымерзала, пухла от голода, сходила с ума, вымирала от тоски и болезней, съедала себя самое, посылая через застывший материк в лучезарную Москву вестников своей скорой окончательной смерти. Гонимые добирались, извещали о грозящем конце к моменту, когда посланный их был уже мертв. Они не ведали об этом, стучались в дубовые двери, сбивчиво, бестолково рассказывали. Их вежливо выслушивали, записывали их адреса, обещали помочь. Забывали о них среди муравьиной суеты огромного здания, которое работало, шевелилось, писало, звонило, устраивало пресс-конференции и слушания лишь для того, чтобы обеспечить себе в умирающем пространстве страны последнюю толику тепла и света. Пришельцы из огромной, напоминавшей остывшую луну России растерянно озирались, согревались, пили пустой чай в буфете, понимая, что им предстоит покинуть здание и снова без скафандра выйти в открытый космос.

Белосельцев кружил по Думе, стараясь освоить это новое для себя место. Словно совершал рекогносцировку на местности, оценивая ландшафт, где предстоит сражение. Господствующие высоты, естественные преграды, пути отхода, возможные места засад. Он был состарившийся разведчик, чей мнительный натренированный ум везде усматривал западню и подвох. Внезапно на просторном лестничном марше он увидел Чичагова. Тот бодро спускался, глядя себе под ноги, но было чувство, что он только что опустил глаза, заметив Белосельцева. Их глаза не встретились, опоздали на секунду. Но в зрачках Чичагова, как в фотообъективе, меркло изображение Белосельцева, а его сухие губы среди мелких морщинок едва улыбались.

Эта встреча не удивила Белосельцева. Он ее почти ожидал. Был уверен, что Чичагов навестил Ивлева, предвосхитил его, Белосельцева, визит. Не стал преследовать старого сослуживца, позволяя ему исчезнуть в клубке людей у выхода из Думы.

Приемная Ивлева была полна народа. Помощник отбивался сразу от нескольких телефонов, говорил в несколько трубок. Рядом на столе беспомощно верещала мобильная «моторолла», похожая на большого, упавшего на спину жука, который шевелил члениками, издавал металлические вибрации.

Среди посетителей Белосельцев усмотрел нескольких военных в форме, видимо отставников. Несколько крепких мужчин в гражданском, видимо действующих офицеров. Казака в полковничьих золотых погонах, с крепкой, как слиток, бородой. И немолодую женщину, плохо одетую, с каким-то кульком на коленях.

– Вы генерал Белосельцев? – отрываясь от телефонов, обратился к нему помощник. – Григорий Михайлович просил вас сразу к нему пройти!

Он вошел и увидел Ивлева. Они обнялись, и Белосельцев почувствовал, какие крепкие, бугрящиеся мускулы на плечах и спине несостарившегося генерала, который был свеж, энергичен, в тонком красивом костюме, в шелковом, ловко повязанном галстуке.

– Сумасшедшая жизнь, Виктор Андреевич! – Ивлев, поддерживая Белосельцева за талию, провожал его к удобному глубокому креслу, помещаясь рядом за маленьким столиком. – Столько дурных событий, столько ненужных встреч, а с дорогими людьми невозможно повидаться! К самым драгоценным людям никак не дотянешься!

Они сидели в огромном дубовом кабинете, в морозном солнце, два генерала, два афганских ветерана, чьи судьбы, переплетаясь и разлучаясь, были направлены на служение армии, государству. Его, Белосельцева, служение оборвалось, и он, как промахнувшаяся пуля, срикошетив о пустые камни, упал в пыль пустыни. Служение Ивлева продолжалось, он мчался сквозь войны, политические бури и схватки, как стальной сердечник, чтобы поразить грозную, обреченную на истребление цель.

– А помните, Виктор Андреевич, как в Сарахель без охраны поехали? – Ивлев изумленно и радостно крутил головой, словно не верил, что это случилось с ними. – Этот черт хитрый, полевой командир, Абиголь или как его?... Думаю, заманивает нас к себе в кишлак, башку отрежет. Мне ехать страшно, но перед вами виду показать не смею. Отдал приказ начальнику артиллерии: «Если через сорок минут на связь не выхожу, сметай кишлак из всех стволов!» Ну, слава Богу, вернулись живыми...

Белосельцев помнил их поездку в кишлак Абиголь под Гератом, тучные, отяжелелые от спелых яблок сады, каменно-гончарную крепость, источавшую, как накаленный очаг, ровное сухое тепло. Синяя теплая тень под деревом, и они на ковре беседуют с черноволосым белокурым главарем. Лежат на ковре автоматы, краснеет разломленный сочный гранат. И ему, Белосельцеву, ведущему неторопливый осторожный разговор с афганцем, хочется дотянуться до дальнего края ковра и погладить теплый ворс в том месте, где изображен бредущий верблюд.

– А помните, как обвели вокруг пальца Якуб-Хана? Пригласили его отряд на раздачу оружия, он все посты снял с дороги, кто на чем помчались получать автоматы, а я тем временем без единого выстрела провел колонну с боеприпасами. Ваша хитрость, Виктор Андреевич! У вас учился!..

Он помнил мелкий солнечный брод с протоками, с яркой зеленой травой, за которым начиналась серая, как пепел, пустыня, и ржавел черный короб сгоревшего танка. Полк проходил по мосту, ревели «бэтээры», солдаты с красными испеченными лицами облепили броню. А он на минуту спустился к реке, сунул руку в холодную воду, пережил мгновение острой любви и печали, глядя, как несутся сквозь его пальцы крохотные песчинки, завиваются светлые струйки воды.

– А в Герате, в крепости, когда «чистили» в который раз эту чертову Деванчу и батальон застрял в кварталах, напоровшись на мины, помните, как наш шальной вертолет отстрелялся по командному пункту? Так шарахнул, что все карты унесло и осколочек мне прямо в плечо

угодил. Вы мне его тогда перочинным ножиком вытащили и на платочке преподнесли. Он у меня дома до сих пор в шкапулке хранится вместе с вашими часами...

Он помнил эту старую крепость времен Македонского, и во время передышки, когда прекратилась стрельба и офицеры штаба раскупоривали банки с консервами, пили из фляжек воду, он спустился на внутренний двор, на серый раскаленный пустырь. И там в земляной осыпи нашел несколько фарфоровых черепков с остатками лазурных узоров. Подымался обратно на башню, слыша, как разгорается стрельба, сжимал в кулаке осколок старинной пиалы.

Эти три воспоминания были столпами, на которых укрепился просторный шатер, где они оказались с Ивлевым в особом, только им одним принадлежавшем пространстве, чувствуя себя в безопасности от внешнего чужого и опасного мира. В этот шатер входили только друзья, утомленные путники, и их ожидал кров, покой, угощение. При масляном свете лампы на кошке, подоткнув под голову полосатую тугую подушку, дремать и слышать ровное дуновение пустыни, слабый шорох сухих песчинок.

– Мне так нужно переговорить с вами, Виктор Андреевич! А здесь сплошной народ, сплошные посетители!.. То военным зарплату не выдали, то завода военный заказ отменили, то какой-то «русский иран-гейт»! Можно сойти с ума! – Ивлев схватился за голову, показывая, как в нее не умещаются все заботы и хлопоты, связанные с депутатской работой. А Белосельцев вздрогнул, словно в шатер, где он отдыхал, донесся снаружи металлический звук тревоги. Щелчок затвора. Удар копыта о камень.

«Русский ирангейт» – прозвучало как сигнал опасности. Чичагов, мелькнувший в коридорах Думы, побывал в кабинете у Ивлева. Чичагов был тем, кто устроил его встречу с Имбирцевым, был тем, кто привел его в этот дубовый кабинет. Ивлев в своей добродушной искренности утаил недавний приход Чичагова. Как бусины четок Чичагов, Имбирцев и Ивлев были нанизаны на тесьму. Шатер, куда его пригласили, не уберегал от опасностей. Щека касалась гостеприимной, набитой шерстью подушки, а рука нащупывала под ней пистолет. Белосельцев, не меняясь в лице, продолжал мечтательно улыбаться, словно видел жаркие глинобитные стены и женщин в шелках, несущих на головах мокрые кувшины с водой. Но все его скрытые, изношенные от долгих слежений приборы включились, и он с их помощью отслеживал колебания и импульсы, исходящие от хозяина кабинета. Интрига, в которую его вовлекали, раскрывала свои лепестки.

– Там ждут меня несколько человек, – Ивлев кивнул на двери в приемную. – Я их быстро приму, и тогда мы спокойно побеседуем, Виктор Андреевич...

Первым вошел широколобый, коротко стриженный человек в штатском. Вытянулся у порога, щелкнул каблуками:

– Замкомандира 106-й воздушно-десантной дивизии, полковник... – вошедший был крепок, сосредоточен и ладен. Было видно, что это не проситель и жалобщик, а гонец, доставивший информацию. Он спокойно смотрел на Белосельцева, как на помеху, которая мешает начать разговор.

Ивлев пожал ему руку, отвел в дальний угол кабинета, и они негромко, неслышно для Белосельцева переговаривались. Долетали невнятные обрывки фраз:

– Двухдневный марш, не менее... Воздушной переброски не будет... Совещание командиров намечено...

Они говорили о каких-то перемещениях войск, о затруднениях, о взаимодействии подразделений. Белосельцев не вникал в чужой, не касавшийся его разговор. Пытался понять, в чем коварная интрига Чичагова. Какие сложные пласты явлений двигаются навстречу друг другу. Где место их встречи. В чем, по замыслу старого хитреца и лукавца, роль его, Белосельцева.

– Передайте товарищам мою благодарность, – прощался с визитером Ивлев. – Вы всегда можете звонить по мобильному. Только одно слово, я сразу пойму.

– Разрешите идти? – сказал подполковник. Спокойным взглядом осмотрел Белосельцева и, круто повернувшись, вышел.

Следом появился казак, золотопогонник, с крестами, с русой бородой, в которой розовели сочные свежие губы.

– Походный атаман Голубенко Донского казачьего войска по вашему приказанию прибыл, – бодро доложил казак, глядя на Ивлева преданными, синими, чуть навькат глазами.

– Как жизнь на тихом Дону? – спросил Ивлев, приглашая гостя пройти.

– От жидов нету мочи. Загубили вконец. Ждем приказ выступать.

– Пакет привезли?

– Так точно!

Они с казаком отошли в дальний угол. Гонец распахнул нарядный, с золотыми пуговицами и крестами мундир, достал с груди пакет, протянул Ивлеву. Тот разорвал конверт, внимательно, повернувшись к свету, читал. Они негромко переговаривались с казаком.

– Спичку поднеси, загорится... Вся бригада с техникой за казаками пойдет... Вы приезжали, вам «Любо!» кричали... А этих жидов нагайками до Москвы гнать будем!..

Белосельцев не вслушивался. На тонкой тесьме, нанизанные как стеклянные ягоды, находились Чичагов, Имбирцев, Ивлев и он сам, Белосельцев. Перебирая пальцами четки, можно было нащупать соседние стеклянные ядрышки. Цепочка людей и поступков, последовательность встреч и звонков складывались в комбинацию, смысл которой был покуда неясен. Старинный инстинкт разведчика подсказывал Белосельцеву, что его вовлекли в игру, из которой лучше уйти. И тот же инстинкт побуждал его оставаться в игре до тех пор, пока смысл ее не откроется. Кроссворд, который ему надлежало заполнить, еще не был начерчен. Не все ячейки для букв были обозначены, и он терпеливо, пытливо ждал, сонно прикрыв глаза, как старый ястреб на телеграфном столбе, видя сквозь прикрытые веки, как лучатся золотые погоны, пуговицы и борода казака.

– Так что я доложу на совете атаманов, какого вы мнения, Григорий Михайлович. И все мы вам желаем крепкого здоровья! А чтоб у наших врагов кишки разорвало! – возбужденно и радостно прощался казак, унося на своих свежих губах ухмылку.

В кабинет вошла немолодая женщина. Платок спустился с ее простоволосой, седеющей головы. На пальто не было нескольких пуговиц, наружу вылезали какие-то вязаные кофты. В руках она держала кулек. С ним и села на стул, куда бережно опустил ее Ивлев.

– Что вы хотели? – спросил он вкрадчиво, как спрашивают пациента о мучительной неизлечимой болезни.

– Я вот шла... хотела... в Москву... специально... – пролепетала она, и глаза ее слезно и слепо гуляли по кабинету, по столу с телефонами, по тяжелым дубовым стенам.

– Я вас слушаю, – терпеливо повторил Ивлев, ободряя женщину кивком и взглядом. Но та продолжала блуждать глазами. Они, невидящие, были полны прозрачной влаги, не умели найти точку, остановиться, словно в ее помраченном рассудке не могла сложиться разорванная мысль.

– Может быть, вы не ко мне? – Ивлев смотрел на нее с состраданием, молча извиняясь перед Белосельцевым за вынужденное промедление.

– Я шла... в Москву... С Хасавюрта... Чечню прошла... Сына убили... Ко всем генералам ходила... Говорят, сгорел сыш... Товарищей его разыскала... Сказали, в танке сгорел... Назвали Аргун... Поехала сына искать... Чеченцы били... Два раза в яму сажали... С пробитой головой упала в арык... Пришла в Аргун... Говорю: «Где танк сгорел?» Мне показали... Одно железо, ржа и окалина... Я в танк залезла, горстку пепла собрала... Все, что от Сени осталось... В Москву привезла... Пусть его в Кремле, в стене похоронят... Вот он мой Сенечка!.. – она

развязала кулек, достала плоскую картонную коробку, раскрыла ее и поднесла Ивлеву. Белосельцеву была видна на дне темно-рыжая горстка ржавой земли. – Это мой Сенечка... Помогите его в кремлевской стене схоронить...

Это было безумие, но и страстная просьба истерзанной женщины, желавшей спасти от забвения ненаглядного сына, чтоб из горстки ржавой земли он превратился в краснозвездные башни, в белоснежные соборы с золотыми крестами, процвел в центре русской земли немеркнувшей славой и в дни торжеств взлетал над Москвой букетами ярких салютов.

Лицо Ивлева на мгновение утратило резкость черт, словно оно отразилось в воде, на которую дул ветер. Оно было беспомощным и несчастным. Его ответ женщине был ответом беспомощного генерала, который послал на смерть ее сына и которого самого послала на дурную войну дурная и бесславная власть. Мстя этой власти, обесчестившей страну и армию, Ивлев пошел в политику. Затевал опасное дело, ради которого являлись к нему казаки и десантники, ради которого пригласил к себе Белосельцева. Женщина протягивала ему горстку пепла, оставшуюся от сына, оставшуюся от армии и страны.

– С вами будет говорить мой помощник, – сказал женщине Ивлев. – Он выдаст вам деньги на похороны сына. Его похоронят с воинскими почестями. На памятнике золотом напишут его имя и название части, в которой он сражался. Большого я не могу.

Он вызвал помощника, что-то тихо сказал. Женщина смиренно заворачивала в кулек картонную коробку, кланялась, шла за помощником. Ивлев, сутулясь, провожал ее до дверей.

– Виктор Андреевич, – обернулся он к Белосельцеву. – Мне надо поговорить с вами по душам. Здесь не хочу, повсюду уши, – он показал на дубовые потолки и стены. – В коридорах проходу не дадут, станут отвлекать. Уж не сочтите за труд, давайте оденемся, прогуляемся где-нибудь по соседству. Ну хоть по Манежной площади, в подземном торговом центре.

Они надели пальто и шапки, покинули Думу. Миновали два окоченелых пикета, погибавших на морозном ветру ради бронзового памятника, который лежал плашмя на московском пустыре, засыпанный снегом. Рты пикетчиков, как водостоки, были наполнены льдом, и они глазами, одни – восторженными, другие – ненавидящими, проводили Ивлева. Манежная площадь открылась с угла Тверской. Белосельцев оглядывал ее, словно впервые, исследуя ее новый, после реконструкции облик. Площадь, прежде пустая, как поле, без людей и машин, предвосхищала своей пустотой розовый Кремль, который казался огромным, парящим, удаленным на благородное расстояние от толкучки города. Его шатровые башни, зубчатые стены, янтарный царский дворец, чьи окна напоминали женские открытые шеи в кружевных воротниках, представляли любящему восхищенному взгляду. На синем асфальте площади стояли каре парадов, ожидая пения трубы, чтобы дрогнуть и тяжелыми литыми брусками двинуться к мавзолею в колыхании штыков и знамен. Тут дымились колонны танков, ряды самоходных гаубиц, готовых в лязге и трясении земли пройти вдоль трибун, расплзаясь на две стороны, вокруг Василия Блаженного, затмевая резные купола синей гарью моторов. Через площадь в дни похорон медленно катили лафеты, везя погребальные урны, и солдаты, как журавли, вышагивали на длинных ногах, описывая штыками солнечные мерные дуги. В дни демонстраций и митингов площадь заливала толпа, чернела в морозном воздухе до белых колонн Манежа. В смоляном вареве, в ртутных испарениях краснели знамена, перекатывались гулы и рокоты, и единым дыханием и хрипом толпа выкрикала: «Макашов!.. Макашов!..»

Теперь же площадь была покрыта хрупкими балюстрадами, измельченными фонарными столбиками, среди которых виднелись плоские стеклянные пузыри, похожие на грязные вздутия льда, и весь ее нелепый, безвкусно застроенный вид отвлекал от Кремля, беспокоил взгляд, будто в глаза надуло сор.

Москвичи полагали, что московский мэр, ненавистник протестных шествий, напускавший на толпу милицейские отряды с дубинками, специально застроил площадь, чтобы отнять

ее у простого народа. Вырыл в ней котлован, устроил торговый центр, а сверху, как плиту с кастрюлями, накрыл стеклянными крышками.

Они спустились в подземный переход, откуда был доступ в торговый центр. Перед входом, среди грязного кафеля, толпились нищие, столь же разнообразные, как перед ступенями храма. Слепые старухи, замотанные в тряпье, с выгнутыми горбами, опирались на палки. Трахомные женщины выставляли на синюшных руках грудных детей, похожих на иссохшие трупики. Маленький мальчик в стоптанных ботинках усердно играл на гармошке. Безногий, на колесиках, в пятнистой военной форме с болтающейся медалью улыбался щербатым ртом. Молодая пьяная женщина вытягивала из рукавов обрубленные, как головешки, культы. Все они просили, вымаливали, неутомимо окликали прохожих. Не переступали черту, за которой открывалось великолепие подземного храма.

Это был не магазин, не торговый центр, а именно храм, построенный в священном центре Москвы, опущенный в сокровенную ее сердцевину, погруженный в толщу московской земли, в которой пластами сменялись эпохи, – древние стоянки славян, земляные городища и насыпи, деревянные настилы и улицы, каменные мостовые и слободы. Храм прорубал пласты, проникал в глубину под Кремль, и если соборы и колокольни стремились крестами ввысь, взышали к небу, то этот храм был опрокинут вниз, стремился к центру земли, взывал к таинственному, обитавшему в земле божеству.

Храм открывался великолепным огромным холлом из малахита, где было гулко, просторно, веяли теплые дуновения, тонкие благоухания, словно возносились благовонные курения, возжигались пахучие травы, и невидимые вентиляторы разносили ароматы под сводами храма. На малахитовой стене красовалась лаконичная надпись на чужом языке, будто изречение из неведомой магической книги. Беззвучные, непрерывно скользящие эскалаторы и хрустальные капсулы лифтов подхватывали робеющих и восхищенных прихожан, опускали их под землю, в ровное, драгоценное свечение преисподней.

Белосельцев вслед за Ивлевым встал на металлический водопад эскалатора, и их повлекло в глубину, где раскрывались бесконечные зеркальные витрины – россыпи драгоценностей, изделия из мехов, бессчетные туалеты, великолепие обуви, самоцветы, дорогие игрушки, тончайшее женское белье, охотничье оружие, косметика, серебряная и золотая посуда, богемское стекло. Тысячи тысяч предметов, предназначенных для дворцов, великосветских приемов, наслаждений, усад, развлечений, увеселительных прогулок, круизов, наполняли витрины, и они казались алтарями, где были разложены священные дары.

Фантазия архитектора, создавшего подземный торговый центр, черпала образы из античности. Повсюду красовались изящные портики, дорические колонны, бил и журчал ионический фонтан, окруженный каменными вакханками, нимфами и дриадами. Каждый магазин, застекленный прозрачным стеклом, был посвящен своему особому божеству. В нем царил свой культ, свой обряд. Продавщицы за прилавками, молодые, прелестные, напоминали весталок, давших обет безбрачия, хранивших жертвенный священный огонь. Стоящая повсюду охрана, бритые здоровяки с мобильными рациями, были суровые стражи, чей угрюмый всевидящий взгляд пронизывал каждого, кто переступал порог храма. Редкие покупатели, имевшие достаточно денег, чтобы купить баснословно дорогие товары, проникали в глубь магазинов. Были посвященные, кому открывался путь к алтарю. Остальные, желавшие приобщиться, но не имевшие для этого денег, лишь созерцали несметные богатства, переходя от витрины к витрине.

Белосельцева поразила вопиющая безвкусица убранства, нарочитая архитектурная пошлость, с которой был выполнен интерьер. Малахит и мрамор, позолота и зеркальное стекло были использованы для того, чтобы родить дешевую и отвратительную подделку, которая, однако, прекрасно соответствовала тому таинственному культу, который царил в храме. Опрокинутый вниз, направленный к мрачному центру земли, являясь противоположностью небу

и надземному миру, он и в архитектуре своей был противоположностью красоте, гармонии, золотому сечению, смыслу. Множество алтарей и даров свидетельствовало о многобожии, но над всеми божками чудилось присутствие невидимого верховного божества. Верховный жрец, лысый, с твердой костяной головой, ошеренный, беспощадный, собиравший оброк с Москвы, окруживший город магическим кругом, по которому днем и ночью неслась, как в кольце Сатурна, светящаяся плазма, этот жрец один имел доступ к золотому вещему богу, поселившемуся в подземелье под фундаментами кремлевских соборов.

– Давайте здесь потолкуем, Виктор Андреевич, – сказал Ивлев, останавливаясь у витрины. – Здесь они нас, голубчики, не достанут!

За высокой прозрачной витриной на черном бархате дивно сверкали бриллианты. Их россыпи были, как ночные созвездия. От них исходило магическое сияние. С каждой грани слетал тончайший лучик, проникал в кровяные тельца, прокалывал капельку крови, причиняя мучительное наслаждение. За стеклом, окруженные угодливыми продавцами, находились покупатели. Важный тучный старик в черном пальто, горбоносый, с желтым черепом, выпяченной нижней губой и темно-лиловыми, складчатыми подглазьями. И молодая прелестная женщина, белокурая, с длинной шеей, влажными, похожими на бутон губами. Женщина сняла дорогое пальто. Служитель держал его на весу. Другой благоговейно надевал на нее бриллиантовое кольцо, застегивал на ее голом нежном затылке. Третий преподнес ей овальное зеркало, всем своим видом выражая восхищение. Горбоносый старец тыкал в бриллианты коротким заостренным пальцем, и служители наряжали женщину, словно готовили ее в жертву плотоядному неуголимому богу.

– Я говорю с вами, как с очень близким человеком, старшим товарищем, которому наверное обязан жизнью, – произнес Ивлев, убеждаясь, что они одни и никто вокруг с помощью длиннофокусного микрофона их не может подслушать. – Я готовлю восстание. Военный переворот. Для этого все уже есть. Части готовы, командиры на связи, рассчитано все до мелочей. Кто откуда входит, какой объект берет под контроль. Все должно произойти очень быстро, без крови. Ну, может быть, десяток бандитов, которые окажут сопротивление, – тех прихлопнем. Под арест будет взято тысяча человек, больше не надо. И это обеспечит практически мирный переход власти, которая и так валяется под ногами...

Ивлев повел вокруг глазами. Взял Белосельцева под руку, и они сделали несколько шагов, перешли к соседней витрине. Под стеклом на малиновом бархате были разложены золотые часы, мужские и женские. С литыми желтыми корпусами, крупными циферблатами, массивными браслетами, похожими на слитки. И крохотные, усыпанные самоцветами часики, как хрустальные капельки, впаянные в золотые основания. Японские, швейцарские, французские. Как свернувшиеся золотые змейки со стеклянными чуткими головками. Как пригревшиеся на солнце ящерицы с дергающимися язычками. Их было так много, и все они шли, шевелили усиками, переливались, искрились, что казалось, будто здесь, в стеклянной колбе витрины, вырабатывается само время. Отнимается посекундно у тех, недостойных и жалких, находящихся за пределами храма, укорачивая их ненужные жизни. Прибавляется непрерывными толиками к жизням избранных, чтобы продлить их владычество, управление миром, поклонение бесмертному, живущему вне времени божеству.

У прилавка стоял плечистый разлапистый малый, с ершистой стрижкой, маленьким крепким лбом, красными накаленными скулами. Засучил рукав долгополого пальто, заголил волосатое запястье, примерял тяжелые золотые часы. На огромном кулаке у оттопыренного большого пальца была синяя татуировка, дракон или змей. Ему нравились часы, он вертел кулачищем перед носом угодливого служителя, и Белосельцеву казалось, что в этом кулаке возникает то бандитский пистолет, то нож, то зубчатый кастет.

– Военному перевороту должно предшествовать народное восстание. Массовые выступления народа в Москве, в других городах, на заводах, на шахтах. Миллионы должны выйти на

улицы и обратиться к армии с просьбой защитить народ от произвола. И тогда, на зов народа, откликнется армия. Все это должно произойти почти синхронно. Переговоры с лидерами партий, профсоюзами, стачкомами ведутся. У меня каждый день бывают люди из регионов, торопят события. Я уверен, этой весной, уже через несколько недель, мы решим эту проблему...

Ивлев снова оглядел пустынное пространство торгового центра, недовольно покосившись на появившегося из дверей молодого охранника в форме. Увлёк Белосельцева к соседней витрине. Там, за стеклом, висели меха. Будто мчались воздушные невесомые стаи чернобурых лисиц, глазированных, как стекло, куниц и выдр, драгоценных песцов и норок. Висели шубы, муфты, манто. Черно-серебристые, с белым подбоем накидки из абиссинских бабуинов. Пышные царские мантии с белыми язычками горностаевых хвостиков. Две молодые женщины, длинноногие, как манекенщицы, примеряли шубы. Казалось, они надевают их на голое тело, на розовые груди, нежно-выпуклые животы, на овальные бедра. Они поворачивались перед зеркалами, смеялись, успевая незаметно касаться друг друга. Ласкались, возбуждались от прикосновений теплого меха. Служительницы, такие же красивые, улыбающиеся, помогали им. Поддерживали шубы, пропускали свои длинные чуткие руки за воротник, в просторные рукава, обнимали под шубами их гибкие талии. Это напоминало древний обряд приручения диких животных, когда женщина отдается зверю, возникают загадочные лесные соития, от которых происходят на свет кентавры, птицы-сирины, львы с человеческими лицами, люди с лисьими головами. И в кургане царя, в пирамиде фараона находят забальзамированную священную кошку или молодую кобылицу, похороненную с почестями любимой жены.

– Я вам сразу скажу, Виктор Андреевич, в политических делах я неопытен. Я военный, буду управлять войсками, поддерживать режим чрезвычайного положения. Мне нужен соратник, знающий вкус политики. Соединяющий меня с лидерами движений и партий. Обеспечивающий интеллектуальный штаб по подбору кадров. К моменту, как мы возьмем власть, мы должны иметь всех министров, руководителей радио и телевидения, главу Центрального банка. Мы должны в тот же день издать несколько основополагающих документов в области экономики, социальной сферы, внешней политики. Будьте таким соратником. Начните подбор кадров. Начните переговоры с партиями. Все это требует гибкости, конспирации, огромного такта. И всем этим вы обладаете в высшей степени...

Они вновь перешли на другое место, к витрине, на которой было выставлено оружие. Коричневые и золотистые ложа. Черно-голубые стволы. Двухстволки лучших оружейных заводов. Помповые ружья. Оптические карабины. Многозарядные автоматы. Сталь, стекло, драгоценные породы дерева. Эмблемы, инкрустации, радужная вороненая пленка. Все это оружие с именными клеймами известных оружейников мира было к услугам богатых великосветских охотников, разбивавших свои шатры и палатки у подножия Килиманджаро, в сельве Амазонки, в национальных парках Конго. Жирафы тянули тонкие пятнистые шеи к лакомым листьям деревьев. Буйволы и антилопы паслись на тучных травах саванны. Тигры и львы, обессилев от сытости, залегали в сухих тростниках. Но их уже выцеливал дальнобойным карабином молодой румяный мужчина в тирольской шляпке с фазаньим пером, прижимая к клетчатой куртке тугой приклад, поводя стволом по витринам, скользнув прицелом по лбу Белосельцева. Закупит самолет, погрузив в него друзей и любовниц, наполнит его напитками, яствами, походными принадлежностями и оружием. Улетит в Кению на воскресные дни, на краткое упоительное сафари. И в его особняке на Успенском шоссе появятся шкура убитого им леопарда, витые рога козлотура, белый бивень слона. Белосельцев, проживший жизнь среди стреляющего оружия, многократно побывав под огнем, разряжавший стволы в нападавшего противника, видел блаженное лицо румяного охотника, в котором оружие пробуждало сладострастие. Охота для него была эротическим, замешанным на звериной крови, ритуалом, предполагавшим соседство женщины, обладание которой было невозможно без убийства.

– Я делаю вам предложение, Виктор Андреевич. Не говорите ни «да», ни «нет», подумайте. Родина ненаглядная погибает от жестоких мерзавцев, и никто, кроме нас, ее не спасет. Либо мы сейчас сохраним ее для наших детей и внуков, либо ее не станет, и нашим внукам мы будем отвратительны и поганы...

Белосельцев смотрел ввысь, в стеклянный купол с начертанными каббалистическими фигурами, звериными орнаментами, астрологическими знаками. Они пребывали в культовом зале, где шло поклонение жестокому древнему богу, подчинившему себе русские снега и березы, русских поэтов и воинов, священников и духовидцев. Кремль был подрят огромным золотым кротом, и соборы и башни, как растения с разорванными корнями, иссыхали и чахли. Белосельцев чувствовал, как страстно ненавидит, как твердо верит Ивлев, готовый погибнуть, осуществляя свой дерзкий замысел. Чувствовал, как он опасен режиму, как тянутся к нему со всех сторон опасности и угрозы, и он открыт, незащищен. Два заговора и переворота, которые затевались в недавние годы, в августе и в октябре, были бездарно провалены. Множество людей лишилось голов, эполетов, застрелилось или спилось от тоски. Этот третий заговор таил в себе возможность провала. Чичагов, как старый бесшумный ворон, низко прошел над землей, оставил след в морозящем дожде. Белосельцев искал объяснений недавним знакомствам и встречам. Они начались внезапно, полетели в него из одной ракеты, как разделяющиеся боеголовки, окруженные сотнями ложных целей. В ближайшие дни последуют новые встречи. Новые головные части, рассеивая множество мнимых помех, полетят на него. И весь его интеллект, интуиция и опыт разведчика потребуются для распознавания реального, несущего взрыв объекта. Для распознавания истины. Если спецоперация, куда его вовлекает Чичагов, будет разгадана, он примет решение. Либо уничтожит головку, не даст ей взорваться. Либо уйдет из-под взрыва и издали станет смотреть на уродливый дымный гриб.

– Я подумаю, Григорий Михайлович, – сказал Белосельцев. – Через несколько дней позвоню.

– Буду ждать с нетерпением.

Стеклянная капля лифта вынесла их на улицу. Ивлев отправился в Думу. Белосельцев вернулся домой, где поджидали его коробки с бабочками. Данаида светилась, как красная пустыня Регистан, и он нырнул в ее волнистый орнамент, погружаясь в прошлые дни. Горячий песок оползал на его башмаки, и он бежал, держа автомат, туда, где ревели верблюды и погонщики сваливали с косматых горбов тюки.

Глава шестая

Просторный сумрачный номер в отеле «Кабул». В полуоткрытом шкафу – его пиджаки и рубахи. Цветастый термос на тумбочке. Блюдо с восточными сладостями. Белосельцев поджидал к себе работника резидентуры и представителя ХАДа – афганской контрразведки. За окном шумела, блестела улица. Полицейский в огромных, с раструбами перчатках махал худыми руками. Грузовой «форд» с тюками, в подвесках и ярких наклейках, похожий на покрытого попоной слона, загородил перекресток. Огибая его, катились двуколки, толкаемые мускулистыми гологрудыми хазарейцами. На одной двуколке лежал вверх дном начищенный медный котел. На другой в позе фарфорового божка сидел укутанный старичок в белой чалме. По улице под деревьями торопился, пестрел народ. Развевались одеяния, шаркали башмаки, раздавались крики разносчиков, предлагавших сигареты и каленые земляные орехи. Темнела близкая зубчатая стена Дворца Республики с бойницами, старинными пушками, маленьким красным флагом. И над всем острозубо и ясно сверкала посыпанная снегом гора.

Ожидая визитеров, Белосельцев вышел из номера. Заметил, как слуга-коридорный в дальнем углу, расстелив шерстяной коврик, молится отрешенно, воздевая над головой руки, роняя вперед худое гибкое тело. В нижнем холле портье и швейцар, потупив глаза, следили за ним, пока он шел к застекленному стенду со свежим выпуском «Кабул нью тайме». Он чувствовал спиной их взгляды, бегло просматривая местные и зарубежные новости.

За стойкой бюро туризма темнела блестящая, расчесанная на пробор девичья голова. Всю стену позади занимали рекламные плакаты. Гончарно-солнечные, в письменах, наклоненные минареты Газни. Зелено-голубые мечети Герата. Бородатые, в распахнутых халатах наездники вспенивали воду горной реки.

– Доброе утро, – поклонился девушке Белосельцев. – У вас по-прежнему пусто? Как видно, туристы сюда не спешат.

– Боюсь, их не будет вовсе, – жалобно улыбнулась девушка. Ее английский был робким, но правильным. Глаза смотрели виновато. Она выглядела замерзшей и одинокой. – Я слышала, на дороге в Джелалабад опять подожгли автобус.

– Я хотел попросить у вас туристскую карту. Возможно, мне предстоит путешествие.

Девушка протянула ему контурную карту Афганистана с маленьким красным гербом республики. Он рассматривал очертания приграничных с Китаем и Пакистаном провинций – Бадахшана, где хотел побывать на горных рудниках лазурита, Нангархара, где в долине субтропиков раскинулись плантации цитрусов, и где в теплом и влажном воздухе среди вечнозеленых растений он мечтал поймать оранжево-черную бабочку.

Он услышал гулкие, приближавшиеся по лестнице голоса. Спускались жившие в номерах советские специалисты и советники, работавшие по контракту. Каждое утро они собирались в вестибюле, шумные, дружные, похожие друг на друга, дожидаясь прихода афганцев, которые забирали их в машины, развозили по учреждениям, министерствам, заводам.

Среди спускавшихся был Нил Тимофеевич, бодрый, деловитый, уже привыкший к своей роли советника. Что-то втолковывал, объяснял узбеку, ведовавшему ирригацией. Белосельцев с удовольствием разглядывал его простое крестьянское лицо, толстые губы и белесые мохнатые брови.

– Нил Тимофеевич, – пожал он руку советнику, – старых друзей забываете! Сколько зову, не заходите! – Ему и впрямь хотелось посидеть с приятным ему человеком, с которым довелось пережить самые первые, острые впечатления, когда колонна синих тракторов коснулась колесами афганской земли и та откликнулась волшебной светомузыкой гор, снежным бураном, пулями из старых винтовок. – Где они сейчас, трактора?

Нил Тимофеевич взял из рук Белосельцева карту. Водил по ней толстым пальцем:

– Одна, с которой мы добирались, в Джелалабаде, уже работает. Скоро поеду проверять... Другая плохими дорогами идет в Кандагар. Там были большие задержки... А третья тем же маршрутом подходит к Салангу. Буду встречать в Кабуле... – Он говорил обыденно, со знанием дела, будто речь шла о поставках техники в томские совхозы. И эта обыденность, быстрота, с которой Нил Тимофеевич приспособился к новым условиям, привык к незнакомой стране, удивляли Белосельцева. Страна по-прежнему казалась загадочной, скрывала свою таинственную сущность, сулила неожиданности. И та упрощенность, с какой подходили к таинственной незнакомой стране приехавшие из Союза советники, разочаровывала и удивляла Белосельцева.

– Я бы и сейчас в Кандагар махнул. Говорят, интересный город. Да дел больно много в Кабуле, – озабоченно делился Нил Тимофеевич. – Начинается съезд аграрников, всеафганский. Будет объявлена широкая программа – углубление земельной реформы, мелиорация, обводнение пустынь. Очень нужно послушать... Да вы заходите завтра ко мне! Я вон народ приглашаю! – Нил Тимофеевич радушно кивал, обращая к друзьям свое крестьянское синеглазое лицо. А Белосельцеву вдруг стало тревожно и больно. Вспомнилась вдруг белоснежная зимняя чаечка, прилетевшая с Амударьи и мелькнувшая над головой советника.

– Нил Тимофеевич завтра товарищеский ужин устраивает, – любезно улыбнулся смуглый ферганский узбек. – Гостинчик выставляет. А как же! Трактора Саланг одолели!

Дружной гурьбой двинулись к выходу, где их ждали машины с представителями кабульских ведомств. Слышались приветствия, возгласы. Нил Тимофеевич, усвоивший несколько афганских фраз, громко, уверенно возглашал: «Хубасти!.. Читурасти!.. Ташакор!» Вся компания исчезла, растворилась в пестром мелькании улицы.

Белосельцев рассеянно стоял в вестибюле, разглядывая сумрачный и безлюдный зал ресторана, где давно уже не слышалась музыка и вечерами, при потушенных огнях, едва различимо краснели тяжелые ковры на стене.

– Следите внимательно за английской машинкой!.. У вас выпадает «би»!.. – услышал он сухой недовольный голос. Мимо проходил худой лысоватый работник московского МИДа, командированный в помощь афганским дипломатам, живший в просторном люксе, куда посольские работники приносили ему пачки бумаг. Рядом шла, опустив глаза, то ли машинистка, то ли секретарша, строгая, лакированная, натянутая. Белосельцев и прежде видел ее, нелюдимо и торопливо проходившую по коридору. Каждый раз она вызывала в нем легкое отторжение – своей собранностью, аккуратным и скрупулезным набором мелких женских предметов, украшавших ее волосы, пальцы, блузку. В таких аккуратных московских женщинах было что-то искусственное, одинаковое – в изящных сумочках, зонтиках, лакированных ногтях и сиреневой губной помаде. Встречая ее в коридоре кабульского отеля, Белосельцев бессознательно раздражался. Своей узнаваемостью и стандартностью она мешала чувствовать и узнавать окружающую его новизну. – Вам принесут пакистанскую и индийскую прессу. Сделайте вырезки по интересующей меня проблеме! – требовательно произнес дипломат, и они вышли на улицу сквозь стеклянную дверь, где их поджидал огромный лакированный «шевроле».

«Цаца в целлофане», – раздраженно подумал Белосельцев. И вдруг почувствовал легкое головокружение, как при подъеме на скоростном лифте. Его слабо колыхнуло, будто надавило боковым ветром. Он шагнул туда, где только что была она. Поместил себя в пространство, только что ею покинутое. Сделал несколько шагов ей вслед, чувствуя, что его лицо, плечи, грудь занимают теплую пустоту, где только что были ее волосы, ноги, глаза. Он как бы вливался в оставленную ей форму, становился живой горячей отливкой, обретая на мгновение ее внешность.

Это длилось секунду, два или три шага. Очнулся, отошел к стене. Не понимал, что это было. Кто, невидимый и прозрачный, как ветер, направил его ей вослед. Отчего горят его щеки. Чье мягкое прикосновение чувствует сквозь рубаху грудь. В вестибюль входили помощник первого секретаря посольства Чичагов и сотрудник афганского ХАДа Нимат.

Они сидели в номере при задернутых шторах перед блюдом с восточными сладостями. Белосельцев из цветастого термоса наливал в пиалы горячий чай, наблюдая на потолке странный световой эффект. Сквозь шторы, в узкую щель, с улицы пробивались лучи, и в тонком пучке, как в фокусе проектора, на экране потолка возникало изображение проезжавших по улице экипажей. Бело-желтое размытое пятно проплывало по потолку, и это было такси, его разболтанный рокошущий звук возник и растаял за окном. Следом появилось оранжевое пятно с коричневой тенью, Белосельцев различил обода и спицы двуколки – это хазарец толкал повозку, груженную апельсинами, в сторону рынка. Таинственная оптика серебристого света – прибор, случайно возникший из матерчатой гардины, снежных, отражавших солнце вершин, подобие «волшебного фонаря», – волновала Белосельцева. Он вел разговор с собеседниками и одновременно следил за пучками, кидавшими на потолок подвижное изображение улицы.

– Мы сообщили в Джелалабад о вашем прибытии, – Чичагов перетирал в тонких пальцах смуглый каленый орешек. – Вашу шифровку в Центр передали. Вам благодарность и привет генерала. Нимат прорабатывает ваши контакты в Кабуле, и если у вас есть дополнительные пожелания, он готов их выслушать. – Чичагов перетирал орешек, ссыпая с него тонкую труху сгоревшей кожуры. В его дружелюбных мягких интонациях едва заметно угадывались осторожная пытливость, недоверие к Белосельцеву, чей визит в Кабул был обставлен необъяснимыми, похожими на капризы, условиями. Выполнение их казалось Чичагову утонченной формой проверки, к которой прибегает Москва, направляя в Кабул своего ревизора, молодого дилетанта, доставляющего резидентуре дополнительные непродуктивные хлопоты. – Нимат будет работать с вами по линии кабульского ХАДа. Он же передаст вам контакты в Джелалабаде.

– Дорогой Нимат, – Белосельцев долил в пиалу афганца дымящий чай, видя, как на потолке появилось перламутровое пятно. За стеклами раздалось тяжелое урчание грузовика. Это его разноцветные, как переводные картинки, борта отражались на экране потолка. – Как изменилась обстановка в городе? Какие новые симптомы того, что готовится путч? Внешне все очень спокойно. Вчера я ходил по городу, общался с людьми. И нигде не почувствовал напряжения. Со мной говорили приветливо, дружелюбно.

– Мне кажется, вам не следует одному появляться на улице. Мы всегда вам дадим прикрытие. Это не совсем безопасно, – афганец улыбнулся белозубо и ярко. Его коричневое, красивое лицо, иссиня-черные волосы, свежая рубаха и нарядный шелковый галстук источали свежесть и бодрость. Его русский язык был правильный, с легкими, неуловимыми вибрациями, которые появляются на зеркальном стекле, слегка искажая изображение. – Среди хазарцев появилось много пакистанских агентов. Ведут агитацию. Вчера в Хайр-Хане взяли тайный склад оружия. Автоматы и мины. Замечено внедрение в город много чужих людей из Нангархара и Кундуза. Вчера на Грязном рынке убили чешский советник. Ходил за овощи, один, без прикрытия.

Афганец был одет в темный, прекрасно сшитый костюм. Из нагрудного кармашка торчал уголок платка, в тон галстуку. И было в его облике нечто аристократическое, свойственное молодым интеллектуалам «парчамистам», которые после свержения Амина сменили на ключевых постах в партии, разведке и армии грубоватых простонародных «халь-кистов».

– Я знаю, что в Кабуле кончаются запасы хлеба. Возможно использовать продовольственный фактор для возбуждения беспорядков? – Белосельцев знал, что Нимат получил образование контрразведчика в СССР, в ХАДе в каждом отделе работал советский советник, и ему было интересно, как сочетаются методики, приобретенные в Москве, с неповторимой, отсутствующей в Союзе реальностью мусульманского, возбужденного революцией народа, сквозь который текут, переплетаются, бурлят и клокают таинственные энергии Востока. – В случае путча как поведет себя армия? Как поведет себя партия, в которой, после свержения Амина, углубился раскол?

Нимат отвечал подробно и точно, подбирая факты и анализируя, как человек, постоянно размышляющий об угрозах и способах их преодоления. И лишь тонкий слух Белосельцева угадывал в ответах неопределенность и двойственность. Нимат, получивший высокую должность в контрразведке, был сам включен в изнурительную, терзавшую партию распрю. «Чистка» органов безопасности, смещение с постов сторонников Амина «халькистов», внедрение на их место неопытных и пылких «парчамистов» ослабили службу. Увеличивали возможности противника.

– Этот путч, который вы ожидаете, имеет ли он целью простую дестабилизацию, или же смену режима, установление другой формы власти, создание в Кабуле другого правительства? – Белосельцева интересовал не ответ, смысл которого был ему известен заранее, а степень сложности ответа, по которой можно будет судить о подготовленности афганца, его оперативном мышлении, способности анализировать конфликт.

– Они готовы выступить под лозунгами «исламской революции в Афганистане», – вмешался в разговор Чичагов, не объясняя, а деликатно поучая прибывшего в Кабул дилетанта, чье появление доставляло резидентуре лишние хлопоты, а неясность задания и высокий уровень опеки внушали тревогу и подозрительность перегруженным работой разведчикам. – Аналогия с иранской исламской революцией. Но если иранская была ориентирована против Америки и имамы были доставлены в Тегеран из Парижа, то афганская ориентирована против Союза, и Гульбетдин Хекматияр базируется в Пешаваре. Это своего рода, американский реванш, показывающий, что исламский фактор поддается манипуляции и может быть развернут в любую сторону.

Белосельцева не уязвил менторский тон Чичагова, а лишь раздражило то, что не услышал ответа Нимата. И в этом случае, как и в других, им подмеченных, советские «шурави» излишне плотно опекали своих афганских подопечных. Лишали их интеллектуальной инициативы. Навязывали свои не слишком оригинальные суждения и методы.

Нимат, казалось, угадал мысль Белосельцева, улыбнулся одними глазами.

На белом потолке затрепетали желтые и голубоватые пятна, розовые и зеленые тени, словно в номер залетели летние бабочки, бестелесно кружили у потолка. Снаружи, из-за шторы, раздавались гудки, резкие сигналы и крики, рычало сразу несколько раскаленных моторов, и Белосельцев знал, что на перекрестке случилась пробка, съехались радиаторами несколько грузовиков, их пытались обогнуть нетерпеливые такси, мешались ослики с поклажей и упорные, впряженные в двуколки хазарейцы. И среди этого раздраженного скопища беспомощно метался худой полицейский, размахивал огромными потешными перчатками.

– По агентурным сведениям, в Кабуле появился американский агент Дженсон Ли, – произнес Нимат. – На него замыкается сеть путчистов. Сидит спрятанно в старом городе, к нему приходят муллы, агитаторы, хазарейцы. Он дал приказ резать чешский советник. Он делал текст листовки. Дженсон Ли в Кабуле, будет путч скоро.

Белосельцев представил, как в огромном кипящем городе, незаметный среди рынков, мечетей и хлебных пекарен, невидимый среди мясных жаровен, ковроделов, торговцев лазуритом и золотом, неуловимый среди солдатских казарм и постов полиции, укрываясь от разведчиков ХАДа, меняя облачения, прячась в грязных харчевнях, ночуя в трущобах, шаркая стариковской походкой в толпе на Майванде, развевая розовый шелк паранджи, восседая среди менял на торжищах Грязного рынка, – присутствует в Кабуле американский разведчик, агент пешаварского филиала ЦРУ Дженсон Ли, чье лицо с перебитым носом и приподнятой, как у тетерева, разрубленной шрамом бровью он видел на фотографии в ХАДе.

– На каких превентивных мерах сосредоточены ваши товарищи? – спросил Белосельцев. – Какова профилактика предотвращения путча?

Чичагов слегка улыбнулся, приготовив утонченно язвительный ответ, но удержался. Не стал рисковать отношениями с прибывшим коллегой, находившимся под бдительным присмотром

ром «генеральского ока», чей наивный дилетантизм таил в себе неожиданный подвох и угрозу. Не следовало ради красного словца приближать к себе эту неведомую угрозу.

– Прочесываем Старый город, ловим чужих людей, пакистанский агенты. Перехватываем караваны с оружием со стороны Джелалабад. Ведем агитацию в хазарейских кварталах. Подготовили операцию захвата Дженсона Ли, которую будем делать через несколько дней.

– Могу ли я принять участие в операции? – это вырвалось у Белосельцева невольно, и он тут же пожалел, что позволил себе бестактное вторжение в заповедную область суверенных спецслужб, разрушая иллюзию их суверенности, подтверждая их зависимость от спецслужбы Союза. Но Нимат кивнул, а Чичагов, обменявшись взглядом с Ниматом, усмехнулся:

– Мы продумаем ваш способ участия. Скорее всего, будете действовать под прикрытием вашей «легенды», не с автоматом «Калашникова», а с журналистским блокнотом.

Эта тонкая язвительность не обидела, не огорчила Белосельцева. Он был благодарен Чичагову, исправившему его невольную бестактность.

– Ваша поездка в Джелалабад уже проработана. Наш товарищ ваш ждет, – сказал Нимат. – Вы хотели посмотреть на пакистанский агент. Завтра в тюрьме Пули-Чархи вам покажут агенты. Когда начнется операция по захвату Дженсона Ли, мои люди вас будут прикрывать, как надежный товарищ.

Нимат белоснежно улыбнулся. Вставая, колыхнул среди лацканов безукоризненно сшитого дорогого пиджака шелковым остроконечным галстуком. Протянул Белосельцеву смуглую красивую руку.

– Пресс-конференция Бабрака Кармаля пройдет в зале Гюль-Хана, – сказал Чичагов, прощаясь. – Меня там не будет, но журналисты ТАСС и газеты «Правда» знают о вашем прибытии. Обратите внимание на корреспондента «Монд» Андре Виньяра. Как и вы, работает под прикрытием журналиста. Наверняка станет с вами знакомиться.

Визитеры покидали его номер. Белосельцев проводил их до дверей, благодарно простился. Вернулся и сел в кожаное глубокое кресло.

Его поездка в Кабул могла показаться ознакомительной прогулкой, предпринятой по капризу и прихоти умирающего генерала. Но могла быть элементом запутанной комбинации, в которой ему, Белосельцеву, выделялась скрытая роль, о которой он сам не догадывался. Весь клубок предстоящих встреч и событий будет намотан на невидимую малую точку, составляющую суть комбинации. И этой крохотной точкой может стать поимка агента из Пешавара, или внедрение агентуры в окружение Бабрака Кармаля, или его, Белосельцева, смерть, или его, Белосельцева, озарение, в котором упадут с глаз непрозрачные завесы, и мир, среди боев, разрушений, мусульманских похорон и молений, откроет свою ослепительную лучезарную сущность.

«Волшебный фонарь», сконструированный из гардины, светового луча и усыпанной снегом горы, спроецировал на потолок ворох алых теней и пятен, словно за окном, на липкой и мокрой улице, расцвел цветок мака. Белосельцев поднялся, подошел к окну и раздвинул гардину. Мимо окон по липкому асфальту проезжала странная крытая повозка, напоминавшая карету, украшенная красными полотнищами и лентами. Впряженная в карету, цокала аккуратная, похожая на пони лошадка. Ею управлял возница, не в чалме, а в шляпе, с черной бородой не афганца, а странствующего цыгана. Коляска, разукрашенная тканями, напоминала маленький цирковой балаган. В стеклянном оконце мелькнуло и скрылось женское молодое лицо. Коляска проехала. Белосельцев задернул штору, желая снова вызвать на потолке отражение улицы. Но проекция не возникла. Он дергал штору, стараясь уменьшить световой прогал. Но «волшебный фонарь» был разрушен. Хрупкий прибор, сочетавший улицу, горный снег, белый потолок, и его, Белосельцева, зрачок, был сломан. И это породило в нем разочарование и странную боль.

Глава седьмая

В маленьком сквере за отелем было ярко и солнечно. Все розовело, сверкало в мягких голубых испарениях. Над безлистыми кустами роз, прозрачными низкорослыми деревьями высилась огромная, с волнистыми ветвями чинара. Захватила в плетение суков свод голубого неба, ледник на горе, лепнину Старого города. Обнимала Кабул в могучих древесных объятиях. Под чинарой на солнце, на линиях ковров, сидели два старика. Пили чай из пиалок, подливали из укутанного чайника. От вида могучего дерева, ковровых узоров, двух мудрецов, восседавших в центре Кабула, Белосельцеву стало хорошо и свободно. Юношеская, похожая на предчувствие радость охватила его.

Его синяя «тойота» стояла во дворе отеля, где служители, разгружая фургон, таскали ящики с провизией, и старый хазарец, упираясь рваной калошей в корявый сук, бил и бил в него блестящим кетменем, откалывая каменные крошки.

Белосельцев завел машину, наблюдая, как быстро тает на капоте иней. Проезжая ворота, кивнул охраннику с автоматом, вливаясь в толкучку, звонки и сигналы. И город воззрился на него глазурью, стеклом, жестяными вывесками бесчисленных лавок, гончарной лепниной уходящих в горы лачуг. Нес за ним следом серебряный, как топорик, полумесяц мечети.

Пресс-конференция проходила во Дворце Республики, в зале, чьи стены были украшены шелком с изображением цветов и животных, сценами охот и сражений. Генеральный секретарь ЦК Народно-демократической партии Афганистана, председатель Революционного совета, премьер-министр Бабрак Кармаль делал заявление для прессы. В его руке дрожал хрупкий, шелестящий у микрофона листок. Вибрирующий, нараспев, напряженный голос модулировался микрофоном. Слепили блицы, наезжали телекамеры. Сгорбленно, осторожно пробежал оператор, пронося раструб аппарата. Шелестели блокноты. Недвижно и зорко смотрела стоящая у стен охрана.

Заявление было важным. Его ждали и враги, и друзья. Готовились мгновенно огласить его миру по своим телетайпам.

Политическая речь Бабрака Кармаля, облеченная в напыщенную и торжественную форму, была об афганской революции, вступающей в новый период. О великом, ожидаемом веками справедливом разделе земли. О поднявшихся с колен бедняках, получивших наделы земли, поверивших в новую жизнь, в новую справедливую Родину. О разуме, мудрости, доброте, которых достоин народ, тяготеющий к плугу, тяготеющий к равенству, братству. Все это достижимо и близко, и было бы еще достижимей, если бы силы, враждебные народу и Родине, не ударили в спину. Таков был предатель Амин, уничтоживший цвет партии и народа. Таково американское ЦРУ, натравливающее врагов на отчизну.

– Мы хотим одного, – мембранно звучал голос Кармаля, переливаясь в наушники журчащим английским и русским. – Хотим мира. Его хочет рабочий и крестьянин. Мулла и торговец. Хочет всякий честный афганец, желающий возрождения Родины.

Белосельцев смотрел на оратора, стремясь угадать его состояние. Тонкое запястье, охваченное белоснежной манжетой. Гладко выбритое лицо, внешне спокойное, внутренне стиснутое напряжением. Черно-волнистые с проседью волосы. Плотный сидящий темно-стальной костюм. Вот и все, что он видел. Глаза сквозь затемненные стекла очков не пускали в себя, вспыхивали отраженными блицами. Голос, отлично поставленный, декламировал металлически звонко.

Белосельцев чувствовал его драму. Аристократ, кабульский интеллигент, он стоял у истоков партии, готовил восстание. Восставшие летчики бомбили дворец Дауда, революционный танк Ватанджара ворвался на центральную площадь, и он, «парчамист», вместе с друзьями

«халькистами» стоял на победной трибуне, взирал на ликующие кабульские толпы, идущие под красными флагами. Потом случился раскол – «хальк» победил «парчам». Начались расстрелы и пытки. Он бежал из страны, укрывался на чужбине, в Праге. Его держали, как под домашним арестом, говорили, что спасают от наемных убийц. Из Праги он наблюдал победителя – наивного и говорливого Тараки, сказочника и детского поэта. В Праге он узнал, как яростный и беспощадный Амин подушкой задушил Тараки. В Прагу доносились известия о гибели лучших друзей, замученных в Пули-Чархи. О тлеющей гражданской войне, ползущей по кишлакам и ущельям. В Прагу приехали посланцы Москвы, сообщили о решении сместить Амина, передать власть Кармалю. Тайно, на военном самолете, в фанерном ящике с отверстиями для дыхания, как перевозят в зоопарки животных, его доставили в Кабул, поселили на тайной вилле. Когда декабрьской ночью советский спецназ штурмовал Дворец, свергал Амина, когда голое, пробитое пулями тело, завернутое в занавеску, вывозили в окрестность Дворца, и оно, брызгая желтым жиром, горело, превращалось в черные кости, он, Кармаль, все еще жил на вилле, готовился к смерти. Наутро приехал советский посол, поздравил его с победой, пригласил в резиденцию.

Теперь, перед микрофонами, окруженный строгой молчаливой охраной, среди которой зоркий глаз Белосельцева различал смуглые таджикские лица и несколько белесых, славянских, Бабрак Кармаль разъяснял содержание нового этапа афганской революции – исправление допущенных ошибок, сплочение народа вокруг партии, возрождение экономики и культуры.

– Мы хотим, – говорил премьер, – чтобы гордый, свободолюбивый, многострадальный афганский народ жил в условиях мира и процветания. Чтобы из винтовки больше не вылетело ни единой пули, направленной в человека!

Белосельцев оглядывал зал. Поклонился и чуть улыбнулся двум знакомым афганцам из агентства «Бахтар». Поймал на себе осторожный, деликатный взгляд оператора телехроники, откликаясь на него дружелюбным кивком. «Кабул нью тайме» была представлена незнакомым темноусым работником, сосредоточенно погруженным в блокнот. Белокурый поляк, только что прилетевший из Дели, выражал озабоченность и нервозность, видимо связанную с недостатком информации. Корреспондент ТАСС холодно прогулялся по Белосельцеву взглядом, и тот ответил ему вежливым, допустимым среди соотечественников отчуждением. Были шведы и западный немец, знакомые по прошлой пресс-конференции. Но не было англичан и американцев, выдворенных неделю назад из Афганистана за резко враждебные публикации, связанные с насильственным свержением Амина.

И опять оглянулось на него тонко улыбнувшееся, источавшее дружелюбие лицо француза из «Монд» Андре Виньяра. Белосельцев ответил ему яркой улыбкой, приглашавшей к знакомству. Французский разведчик с удостоверением журналиста в кармане был похож на него, Белосельцева. Угадывал это сходство тайной, свойственной разведчикам прозорливостью. Искал путь к сближению.

Готовясь к поездке в Кабул, Белосельцев знал о Виньяре. В разные годы его публикации в «Монд» касались войны в Нигерии, радикальных мусульманских движений на севере Африки, мусульманских настроений в советских республиках. Год назад он совершил поездку в Узбекистан и Туркмению. Писал об исламском влиянии, о тайных мечетях, возникавших в кишлаках Ферганы, о подпольных медресе Самарканда, о туркменских паломниках в Мекку, где они подвергаются воздействию саудитов. Его умные публикации содержали анализ будущих угроз и опасностей, подстерегавших Советский Союз, прогноз на возможный распад территорий, рассказ о партийных кланах, лишь внешне и вынужденно исповедующих коммунизм, ориентированных на мусульманский Восток.

Бабрак зачитал заявление и сел, худощавый и смуглый, похожий на сухой чернослив. Началась процедура вопросов.

– Господин премьер-министр, – поднялся толстенький рыжеватый швед с колечками бакенбардов на румяных щеках, – в афганской печати постоянно упоминается о том, что свергнутый Хафизулла Амин был агентом Центрального разведывательного управления США. Не могли бы вы, господин премьер-министр, подробнее осветить эти связи? В чем они выразились конкретно?

Белосельцев понимал упрощенный прием пропаганды, унаследованный из советской истории, когда каждый внутрипартийный конфликт, кончавшийся расстрелом соперников, связывался с действием зарубежных разведок. Сначала германской и японской, когда уничтожали троцкистов. Потом с американской, английской, когда ликвидировали Берию. Амин, проигравший схватку за власть, расстрелянный советским спецназом, должен был предстать перед обществом, как изменник страны и партии. Как агент ЦРУ.

– Связи Амина с ЦРУ, – Бабрак Кармаль мгновение помедлил, будто строил в уме ответ, придавая ему оптимальную форму, – эти связи были установлены задолго до революции. – Белосельцев следил за движением его коричневых губ, стремился почувствовать больше, чем было заключено в скупую холодную лексику. – Эти связи установлены со времен пребывания Амина в Америке, где он был руководителем землячества афганских студентов. План внедрения Амина в партийное руководство был тщательно разработан, рассчитан на подрыв революции, истребление лучших партийных кадров, на сползание в контрреволюцию и компромисс с реакционными проамериканскими силами. Мы располагаем неопровержимыми данными о существовании такого плана и намерены обратиться в посольство США с требованием выдать дополнительные документы. Сведения эти будут в свое время обнародованы.

В наборе словосочетаний, окружавших пустоту, в привычной для политиков лексике, скрывающей суть, Белосельцев угадывал внутреннюю тревогу Бабрака. Глубинную травму, оставленную партийным конфликтом, изгнанием, возвращением в Кабул на военно-транспортном самолете десантников. Запущенное колесо катастроф, перемоловшее цвет партийных борцов, продолжало вращаться, и один из его поворотов может сбросить и его, Бабрака Кармаля, и другой, еще неведомый лидер, не обозначивший себя соперник, станет выступать в Гюль-Хана, где на шелковых стенах охотники стреляют фазанов, мчатся боевые слоны, и военная конница въезжает в ущелье Панджшер.

Белосельцев посмотрел на Виньяра. Тот поймал его взгляд и кивнул, словно угадал его мысли. Два журналиста-разведчика, антиподы и двойники, смотрели один на другого, создавая иллюзию зеркальной симметрии мира. По разные стороны зеркала взирали один на другого сквозь прицельную оптику.

Поднялся тощий датчанин в черных тяжелых очках, столь массивных, что, казалось, датчанин ломается в поясе надвое.

– Господин премьер-министр, датские социал-демократы внимательно следят за деятельностью Народно-демократической партии Афганистана. Мы с сочувствием отнеслись к судьбе ваших соотечественников, столь жестоко пострадавших от репрессий Амина. В этой связи позволите спросить, не означает ли ваш приход начало сведения счетов, своего рода реванша? Не отразится ли это на внутренней ситуации в партии?

Это был вопрос-ловушка. Любезная, полная сочувствия форма была лишь настилом из веток, под которым таилась яма. Наивный доверчивый шаг, и ты провалился, и на дне – ночные расстрелы в тюрьме Пули-Чархи, когда измученных, сломленных пытками «парчамистов» выводили под стены и косили автоматами, сбрасывали в пыльные рвы. И ответные, после штурма Дворца, ночные допросы, когда пленных «халькистов» из разведки, армии, гвардии уводили к стене и гремели ночные выстрелы. И теперь по всем гарнизонам, по райкомам, заводам, конторам шла мучительная скрытая распря, недоверие, партийная чистка. Смешались командиры дивизий, главы провинций, руководители ведомств. Партия, как переломленная надвое кость, кровоточила, блестела осколками, не хотела срастаться.

Бабрак Кармаль разглядел в вопросе ловушку. Угадал под настилом веток скрытую яму. Последовал неторопливый, отшлифованный ответ:

– Хочу быть правильно понятым. Есть единая Народно-демократическая партия Афганистана. Устранение предателя Амина было проявлением внутрипартийной борьбы. Это было восстание всей партии против предателя и палача. Теперь, когда Амин уничтожен, вся партия консолидированно устремляется на выполнение колоссальных задач, провозглашенных Апрельской революцией.

Белосельцев был рад исходу быстротечной политической схватки с датчанином. Его ум напряженно работал, оценивал интеллект Кармалья, его реакцию, способность партийной лексикой выразить оттенки доктрины. Саму доктрину, возникавшую среди сумбура войны, последствий переворота, нарастающей в стране нестабильности. Революция, о которой говорил Кармаль, была продолжением внешней политики Союза, и он, разведчик, служил этой внешней политике, служил революции. Не стрелял, не погибал от ударов в спину, не умирал на допросе от пыток, не делил землю, не учил стариков в ликбезах, но был на стороне революции.

Бабрак Кармаль белым платком отер свои коричневые губы, смуглое, словно вяленое лицо. Охрана зорко и безгласно смотрела из всех углов. И было неясно, защищает ли она его от возможного удара и выстрела. Или стережет каждое его слово и шаг, и он находится в плену у охраны.

– Господин премьер-министр, – любезно, с легким небрежным жестом, свидетельствующем о внутренней свободе, но и с тонкой почтительностью, блестя над блокнотом золоченой ручкой, поднялся Андре Виньяр, – существуют противоречивые версии, касающиеся свержения Хафизуллы Амина. Есть свидетельства того, что он был уничтожен военными методами, с помощью спецподразделений чужого государства. В целях выяснения истины не могли бы вы, господин премьер, сообщить «Монд» истинную версию происшедших событий?

Вопрос, адресованный Бабраку Кармально, был адресован и ему, Белосельцеву. Заряд, выпущенный Виньяром, – разящий луч, сорвавшийся с острия его золотой авторучки, ударил в дужку темных очков премьера, отразился и рикошетом вонзился в висок Белосельцева. Он ощутил болезненный острый укол. Отточенная спица боли проколола сосуды мозга, ударила в кость, и в горячем алом пятне возникла панихида в Москве. Траурный зал, черно-красные розы, разбросанные еловые ветки, и в гробах, среди голубого сияния штыков, убитые офицеры разведки, доставленные из Кабула, штурмовавшие кабульский Дворец.

Белосельцев знал – не в целях выяснения истины был задан Виньяром вопрос. Золоченый лучик пера, пронзивший височную кость, был оружием поля боя. Этим лучом нацеливались космические группировки противника, авианосцы в Персидской заливе, крылатые ракеты в Европе.

По этому лучу шли под полюсом тяжелые субмарины Америки, караваны с пакистанским оружием через красные пески Регистана. Этот тонкий луч управлял борьбой интеллектов, схваткой и поединком разведчиков. И он, Белосельцев, капитан советской разведки, был малым участником этой глобальной борьбы.

– Не знаю, о каких противоречивых версиях идет в данном случае речь, – холодно ответил премьер. – Ход событий неоднократно освещался в нашей печати и официальных правительственных заявлениях. Сразу же после узурпации власти Амином в борьбу с ним включились здоровые силы партии. Антиаминовское подполье охватывало широкие слои населения и армии. Завершилось народным восстанием, которое свергло Амина.

– Если вам нетрудно, господин премьер-министр...

Виньяр, в нарушение этикета, слал второй вопрос вдогонку первому, в ту же цель, желая пробить оборону. В этом вопросе, еще не заданном, таились жужжащие винтами советские военные транспорты, снижавшиеся над кабульской равниной. Десантники, бегущие врассыпную от фюзеляжей, захватывающие подступы к аэродрому. Боевые машины, идущие по сер-

пантину к Дворцу, стреляющие из пулеметов и пушек. Черные, озаренные вспышками коридоры Дворца, в которых русский мат мешался с афганской бранью. И очередь, убившая Амина, продырявила сытое тело, распорола золотую резьбу дверей.

Угадывая по глазам Виньяра, по его гибкому скользкому жесту, что вопрос задуман как тончайшая политическая двусмысленность и любой ответ будет истолкован во вред Кармалю, Белосельцев с места, громко, наперебой, отменяя француза, спросил:

– Товарищ премьер-министр, мы знаем, что второй этап Апрельской революции провозгласил обширную программу экономических и социальных мер, направленных на благосостояние народа. Что, по-вашему, самое неотложное в этом ряду?

Легким движением головы откликаясь на вопрос Белосельцева одному ему заметной благодарностью, переводя свои нервы и разум в иной диапазон и регистр, Бабрак Кармаль заговорил о близкой посевной, о необходимости засеять все без исключения земли, в том числе и пустующие, брошенные феодалами. Не поддаваться на шантаж и угрозы врага, желающего задуть республику голодом, а пахать и сеять.

Белосельцев, выдающий себя за газетчика, под взглядами удивленных коллег заносил блокнот ответ премьера. Вспомнил колонну тракторов, с которой он въехал в страну. В феодальный глинобитный уклад, в закупоренный гончарный сосуд, обожженный в тысячелетней печи, ударила революция, и томящийся долго дух вырвался на свободу. Народ отрывает взгляд от деревянных сох, от феодальных крепостей и мечетей, смотрит, как идут по дорогам глазастые синие машины.

И опять возникли пробитое пулей стекло, одуванчик трещин и лежащий у трассы водитель с красной раной во лбу. Пахнуло и кануло дуновение обморока.

Поднялся тассовец, спрашивал о Джаркудукском месторождении, готовом к эксплуатации. Включился корреспондент из «Бахтар», спросил о планах реконструкции Кабула.

Пресс-конференция завершалась. Бабрак Кармаль в сопровождении плотной охраны покидал помещение. Гасли яркие лампы. Телеоператоры складывали треноги. К Белосельцеву подошел Виньяр.

– Не посидеть ли нам где-нибудь в баре? – шутливо спросил француз. – Не выпить ли за Апрельскую революцию?

Глава восьмая

Они сидели на застекленной веранде отеля «Интерконтиненталь», построенного для богатых туристов, пустующего в эти месяцы революций и переворотов. Молчаливый бармен поставил перед ними два тяжелых стакана с виски и кубиками тающего льда. Сквозь огромное окно открывался вид на район Хайр-Хана, на множество мелких рассеянных по низине домишек, на плоское слепящее зеркало мелкой воды, сквозь которое тянулась прямая струна дороги. У подножия отеля, вдоль склона горы клубились красные безлистые виноградники. Обрезанные корявые лозы напоминали притихшие на пепельной земле человеческие тела, изломанные старостью, страданиями и болезнями.

Они отхлебывали виски, любовались окрестностями Кабула, голубоватыми тенистыми горами, над которыми летел крохотный серебряный самолетик, описывал длинную медленную дугу, заходил на посадку.

– Говорят, в Кабуле возможен путч. Непокойно в хазарейских районах. Действуют агитаторы и подстрекатели. Вы ничего об этом не слышали? – Виньяр дружелюбно и пытливо смотрел на Белосельцева карими глазами, вокруг которых разбегались тончайшие незагорелые морщинки. В этих глазах было умное и веселое понимание затеянной ими игры, где каждый изображал журналиста, почти не скрывая своей истинной роли разведчика.

– Мне ничего не известно. Напротив, народ успокоился. Хлеб по Салангу подвозят. Лепешки пекут. Вчера я гулял по Майванду, чудесный вкус у лепешек! – Белосельцев с удовольствием произносил французские слова, наслаждаясь возможностью говорить с Виньяром на его языке, слегка поддразнивая его своим уверенным произношением. – А у вас какие-то иные сведения?

– Мне стало известно, что в Кабул стягиваются войска из провинции. Да и контингент ваших войск постепенно наращивается. Все время садятся военные транспорты. – Виньяр посмотрел на небо, где серебряный самолетик снижался на фоне гор. Над ним, над вершинами, уже светился другой, прилетевший из-за хребта. В просторную спираль над кабульской равниной втягивались один за другим военные транспорты. Одни уже бежали по бетону, жужжа сверкающими пропеллерами, другие только появлялись в бледно-синем небе, как крохотные серебряные крестики. – Вчера я ездил в аэропорт, видел, как с ваших самолетов сгружали гробы. Вы не думаете, что, если потери ваших войск увеличатся, это отрицательно отразится на общественном сознании?

– Армия даже в мирное время несет потери, – Белосельцев следил, чтоб в его ответах не проскользнула интонация, выдающая в нем разведчика. Не мелькнули факт или сведение, выходящие за рамки информации, которой мог владеть журналист. Смысл их встречи и их беседы был в установлении тонких оберегаемых обоими отношений, которые, быть может, в дальнейшем послужат более тесным связям. Они выведывали один у другого не сведения, а возможность этих осторожных отношений, предполагавших не вербовку и не партнерство, а только нейтралитет, обеспечивающий им обоим безопасность в случае обострения обстановки. – Мне говорили в штабе, что потери наших войск не превышают процент, допустимый на крупных учениях. Мне кажется, наши военные рассматривают Афганский поход, не как войну, а как крупные учения, повышающие боеготовность войск.

Виньяр отхлебнул из стакана, оттолкнув языком звякнувший кубик льда. Было видно, что ему понравился ответ. Он извлек из него знание не о военных колоннах, прошедших от Кушки до Герата и Шинданта, не о штурмовиках, взлетевших из Маров и опустившихся на кандагарском аэродроме в десяти минутах полетного времени от американских авианосцев в Персидском заливе. Он извлек из ответа еще одну крупицу знаний о нем, Белосельцеве,

убеждаясь, что в случае уличных боев и погромов, арестов и чисток он может рассчитывать на лояльность, царящую в сообществе агентурных разведчиков.

Мимо них прошел служитель отеля, ведающий многочисленными прилавками сувениров, где грудями лежали потемневшие серебряные ожерелья, изделия из полудрагоценных камней, медные тазы и сосуды, покрытые зеленой патиной монеты, толстостенные, из зеленого стекла кальяны, черно-красные грубошерстные ковры. Все это нарядное богатство не имело покупателей, прилавки пустовали, и служитель, проходя мимо двух, отдохавших в баре европейцев, улыбнулся им ослепительной улыбкой, едва заметным кивком приглашая к прилавкам. Он и сам был, как экспонат, в пуштунском облачении, в пузырящихся шароварах, долгополой рубахе и безрукавке. Из-под плотной чалмы рассыпались по плечам вьющиеся черно-синие волосы, и ему не хватало коня с наборной уздечкой и медными украшениями на высоком тесненном седле.

– Говорят, реальная власть в Кабуле принадлежит не Бабраку Кармалю, а вашему послу. Он утверждает министров, назначает губернаторов провинций, разрешает проведение военных операций. Ведь он – татарин и слывет знатоком исламского мира, – Виньяр слегка опьянел, щурил глаза, играл тонкими незагорелыми морщинками, направляя зрачки сквозь толстое стекло туда, где стояло высокое корявое дерево с коричневой неопавшей листвой и на ветках перелетали розовые нежные горлинки. – Вы уверены, что с помощью танков и телевидения вы сможете управлять исламским народом?

– У нас есть опыт среднеазиатских республик, – горлинки были точно такие же, как на персидских миниатюрах. Здесь, в Кабуле, в красноватой прокаленной солнцем земле был похоронен Бабур. По обочинам джелалабадской дороги, в песках Кандагара, под соснами гератского тракта лежали кости его боевых слонов, белые черепа его вьючных верблюдов. И он, Белосельцев, слегка, опьянев, смотрел на серебряных горлинок, прилетевших из «Бабур-наме». – Сначала мы пришли в Среднюю Азию с дивизиями и полковой артиллерией, а потом построили лучшие в Азии города и университеты. Ведь вы были в Алма-Ате и Ташкенте, – провоцировал он тонко Виньяра. – Там, где раньше мулла читал Коран, теперь преподает профессор физики и астрономии, действует специалист по турбинам и авиационным двигателям.

– Я был в вашей Средней Азии. Был в Самарканде, Коканде. Проехал по кишлакам и заводам, хлопковым плантациям и медицинским центрам. Я почувствовал, что в каждом профессоре астрономии тайно сокрыт мулла. В каждом университете и школе таится медресе и мечеть. Глаза узбека и таджика днем смотрят в сторону Москвы, а в сумерках поворачиваются в сторону Мекки. И у каждого в доме уже спрятан молитвенный коврик, и узбекские летчики, перед тем как взлететь, совершают намаз. – Виньяр позволил себя спровоцировать. Его молодой собеседник знал о его узбекских поездках, в которых неотступно, незримо следили за ним глаза советских разведчиков, менявших личины таксистов, любезных переводчиков, гидов. И его молодой визави знал его подноготную, читал досье о поездке. Но здесь, в Кабуле, в пустынном баре с видом на Хайр-Хана, они оба пользовались краткой, дарованной им передышкой. Обменивались тайными, едва уловимыми знаками, обеспечивающими безопасность друг другу. Словно у каждого в руках было невидимое зеркальце и они исподволь посылали друг другу зайчики света.

– Мы во Франции раньше других европейцев пережили исламскую революцию. И потеряли Алжир. Мы посылали навстречу исламу парашютистов и броневики, но добились того, что нас сбросили в море, и половина Франции говорит на арабском. – Виньяр пил виски, желтый напиток уменьшался в толстом стакане, и в кубиках льда вытаивали причудливые отверстия. Было видно, как он пьянеет, наслаждается, его настороженный рассудок утрачивает четкие контуры, и в нем, как в кубике льда, вытаивают и открываются причудливые отверстия и очертания. – Грядет мировая исламская революция, великий исламский реванш. Пророк садится на крылатого коня, плывет через море, сверкая клинком, и дряхлая Европа в ужасе

целит в него из своих ракет, минирует перед ним побережье, а он превращает в прах боеголовки, конь его ступает по минному полю, и на сабле его сияют письма священной суры...

Под окнами отеля служитель повесил на веревку красный с черным рисунком ковер, бил его палкой, выколачивал пыль. Вокруг ковра стояло золотистое солнечное облако пыли, в котором размахивал палкой служитель, словно сражался с ковром.

– Европа исчахла, утратила волю и смысл. Дух излетел из Европы, из ее церквей и банков, из ее парламентов и центров разведки. Дух истории поселился в странах ислама, дышит в устах имамов, пылает на страницах священной книги, сверкает в глазах моджахеда. Ваша страна утратила дух, растеряла свой красный смысл. От вас, как и от нас, остался сухой хитин, в котором погасла жизнь. Здесь, в Афганистане, ваши дивизии коснулись не глиняных кишлаков, не зеленых потресканных минаретов. Они коснулись сабли пророка, и эта сабля рассекает броню ваших танков, погонит вспять ваши дивизии, и зеленое знамя, увенчанное полумесяцем, затрепещет над крышами Алма-Аты и Ташкента, станет видно из Москвы и Казани...

Виньяр использовал лексику романтического интеллектуала, полагая, что этими философствованиями он вовлекает Белосельцева в особые, свойственные русским переживания, в которых исчезает отчужденность и у собеседников возникает особая доверительность. Эту доверительность можно отложить на потом и воспользоваться ей в необходимый момент. Но можно немедленно, в ходе беседы, осуществить неожиданный психологический прорыв сквозь умягченное философией воображение, как прорывается ракета сквозь высотные, лишённые трения пространства, нанося из космоса неожиданный разящий удар.

– Никто из людей Запада не понимает смысл грядущего исламского ренессанса, ни политики, ни журналисты, ни разведчики. Я встречал лишь одного человека, с кем можно было говорить на эти темы. В прошлом году, в Пешаваре, на вилле одного бизнесмена, меня познакомили с американцем, специалистом по Афганистану. Он предсказывал убийство Тараки и приход к власти Амина, а также вступление в войну советских войск. Он также предсказывал ваше неизбежное поражение и, как следствие, переход исламской революции на территорию СССР. Он был очень осведомлен и, кажется, писал на эту тему докторскую диссертацию. Он был прекрасный собеседник, и с ним было приятно пить виски. Его звали Дженсон Ли...

Ракета прорвалась сквозь верхние слои атмосферы и, накаляясь о воздух, окруженная плазменным шаром, рушилась вниз. Белосельцев, отражая удар, занавешивался непрозрачным облаком плотных частичек, в которые влетала ракета, чтобы расплавиться среди них и сгореть.

– Дженсон Ли? Это, кажется, журналист из «Ньюс Уик»... Или нет, репортер из «Нью-Йоркера»?... Впрочем, я такого не знаю...

Служитель выбил ковер, свернул его в черно-красный тугой рулон и унес, держа на плече. И там, где он только что был, все еще витали золотые пылинки.

– Устал, – Виньяр сделал глоток, выпивая вместе с виски остатки льда. – Сердце болит. Вы – молодой человек, еще полны азарта познания. А я старый сердечник. Мне пора на покой. Думаю, это моя последняя деловая поездка. Напишу в «Монд» обещанные репортажи и, пожалуй, распрощаюсь с журналистикой. Поселюсь в моей родовой деревне под Туром. Никого, одиночество, только книги, которые ждут меня долгие годы в надежде, что я их прочитаю. Быть может, я напишу мою собственную книгу. Расскажу, что видел за жизнь. Какие огромные вопросы ставила передо мной эта жизнь. Какие слабые ответы я давал на эти вопросы. Бог, мироздание, смысл бытия. Ведь это очень по-русски, не так ли? И как знать, вдруг вы посетите Францию, и вам захочется узнать, как сложился остаток жизни у человека, с которым вы сидели в Кабуле и пили виски, глядя, как приземляются советские военные транспорты, и о чем-то непринужденно болтали!

Он достал визитную карточку, положил перед Белосельцевым. Тот достал свою. Оба они обменялись адресами газет, с которыми не были связаны. Вышли из бара. Нарядный декоративный пуштун улыбнулся им у дверей, умоляюще указал на витрины, где лежали старинные

сабли, женские ожерелья, браслеты. Виньяр пожал Белосельцеву руку. Он побледнел, видно, и впрямь у него болело сердце. Они расселись по машинам и некоторое время ехали рядом. Потом француз свернул в квартал Шари Нау, а Белосельцев рассеянно катил по Кабулу, не понимая, зачем Виньяр упоминул разведчика Дженсона Ли. Что значило это послание. Какое продолжение будет иметь их встреча. И кто, безмянный, из синего неба, из красных виноградников, из корявой чинары с перелетавшими серебристыми горlinkками, слушал их беседу с французом.

Предобеденный город пестрел и клубился, глиняно-сухой, пыльно-цветастый, среди острых заснеженных гребней Асман и Ширдарвази с остатками крепостных стен, темневших высоко в синеве. Жестяные ряды наполняли улицу грохотом молотков, наковален, гудами изготовленных корыт и лоханей, витых железных кроватей. Жестящик из открытых дверей послал металлический отсвет, сгибая кровельный лист. Дровяные склады в розовых свежих поленищах, с аккуратными кипами слег и жердей, дохнули смоляным ароматом. Босой хазарец, напрягая голую грудь, вывозил двуколку, груженную кладью корявых древесных обрубков.

Белосельцев объехал парк Зарнигар, плотно утопанный, глинобитный, где собирались люди, усаживались на корточки под безлистыми деревьями, торговали книгами, старой одеждой, литографиями с видами мусульманских святынь. Вывернул на набережную Лабдарья. За парашютом обмелевший, мутно-шоколадный поток лился среди сорных груд. Женщины полоскали в нем разноцветные тряпки, торговцы овощами полоскали пучки редиски, и они, малиново-белые и блестящие, ложились на деревянные подносы. Мечеть Шахе-Дошамшира, куда обычно ходили офицеры афганской армии, была открыта, у входа толпился народ. Два старика, белоснежных, пышных, выходили из темных дверей мечети.

Стиснутый толпой, чувствуя, как бьют по машине концы развевающихся накидок, Белосельцев миновал черно-цветастый, клубящийся комок рынка с чешуйчатой зеленью минарета Пули-Хишти. И мгновенно, мимолетно возникло: где-то здесь, в толпе, на прошлой неделе был зарезан чех. Лежал в грязи, в луже крови, с нуристанским ножом в спине.

Дворец Республики с зубцами и башнями был в тени. Белосельцев успел разглядеть хохочущих солдат-афганцев, окруживших старинные пушки в нишах, и зеленый, с задраным оружием, превращенный в памятник танк Ватанджара, отбрасывающий с постамента длинную тень. Миновал угловую башню с бойницами в солнечном морозном сверкании. Вновь ехал в голубых дымах разведенных жаровен, над которыми торговцы что есть мочи махали соломенными опахалами, сыпали из совков красные угли, клали мясные гроздья, пронзенные острями. Хлебопеки выхватывали из глубоких печей раскаленные плоские лепешки. И было во всем такое кишение жизни, устойчиво-пестрый, легкомысленный вековечный уклад, не вязавшийся с недавней пресс-конференцией, вертолетами, уходившими за горы с грузом ракет и снарядов, с громадными транспортом, летящими из-за хребтов, выгружавшими войска и оружие. Белосельцев нес в себе эту двойственность. Любовался обманчивым зрелищем восточного города, где в грязной ночлежке, повязанный рыхлой чалмой, укрывшись до бровей покрывалом, притаился американский разведчик Дженсон Ли. Готовит взрыв хазарейского бунта.

Прямая, как луч, Дарульамман пробивала сплетенную в вершинах аллею огромных деревьев. Сквозила вдали туманным желтым дворцом. Многие деревья были испорчены, умерщвлены аккуратными ударами кетменей, ободравших кору вокруг могучих стволов. Теперь, с наступлением холодов, к засохшим деревьям сходились семьи из соседних лачуг. Валили, распиливали, уносили в дома, не оставляя на земле даже сухих семян и мороженных почек. Все предавалось огню. У коротких торчащих пней сидели дети и тяжелыми топорами откалывали малые щепки. Когда пень ровнялся с землей, дети начинали копать, вырывали корни до глу-

боких подземных отростков. Где недавно стояло огромное дерево, там зияла глубокая яма. Дрова, привозимые с гор, теперь поступали с перебоями. Были в той же цене, что и хлеб.

Белосельцев миновал советское посольство, куда несколько раз являлся на встречу с резидентом и для передачи шифровок в Центр. Чугунные ворота медленно раздвигались, пропуская вовнутрь черную «Волгу». Миновал желтый помпезный, версальского вида шахский дворец Каср Амманула, где размещалось Министерство обороны. Зеленые, устаревшей конструкции бронетранспортеры застыли у входа. Замерзшие солдаты стояли в корытообразных, лишенных верха броневиках, опустив до глаз матерчатые вислые шапки.

Город внезапно кончился. Среди сухих прокаленных осыпей и сверкания снегов открылся Тадж, янтарный, парящий, окруженный прозрачными тенями деревьев. Белосельцев, сбавив скорость, смотрел сквозь стекло на дворец, недавнюю резиденцию Амина, где прошла ударная волна недавнего штурма и где поджидал его подполковник Мартынов, обещая познакомиться с афганским командиром корпуса, – Белосельцев-ва интересовало положение в афганской армии.

Глава девятая

При въезде в аллею афганский часовой, сделав заученно зверское лицо, выбросил штык вперед, уперев его в радиатор машины. Другой подошел к дверце. Белосельцев протянул ему журналистскую карту, но тот, не умея читать, тревожно водил белками, заглядывая в глубь машины.

– Шурави!.. Советский!.. – втолковывал ему Белосельцев, переходя на фарси. – Меня ждет в штабе полковник Азис Голь!

Из-за деревьев показался молодой щеголеватый лейтенант. Усы его с черным стеклянным блеском казались изделием стеклодува. Новая фуражка сияла красным афганским гербом. Он взял у солдата карту. Лицо его осветилось счастливой яркой улыбкой, созвучно солнечным снегам на горах. Козырнул, возвращая карту, с наслаждением картавя:

– Товалис!.. Джурналис!.. Поджалюста!.. Полковник Азис!.. – и подсев на сиденье, указывая вверх по серпантину рукой, затянутой в белую перчатку, сопровождал машину до самого портала Дворца, где встретил Белосельцева подполковник Мартынов, выскочив на холод в полевой телогрейке.

После их совместной поездки по Салангу, в колонне тракторов, они виделись лишь однажды, мельком, в аэропорту, куда Мартынов приезжал принимать груз для штаба армии – огромные зеленые ящики с заводской маркировкой. Солдаты грузили ящики в кузов, Мартынов, покрикивая, следил за сохранностью груза. Они обнялись, обменялись пустяками и угворились встретиться в Тадже, где в разгромленных комнатах, среди битого стекла и обугленной мебели, обустроивался штаб советского Ограниченного контингента.

Теперь они поднимались по широкой лестнице, на которой виднелись следы автоматных очередей, брызги осколков, мазки черной копоти от пожаров и взрывов.

– Хлопот полон рот, – жаловался Мартынов, поводя рукой по измызганным стенам, оставивая свой жест на высокой, висящей картине, где сражались, рубились насмерть наездники, взлетали клинки, падали сраженные всадники. – Еще окна не застеклили, а уже оперативную группу развернули. Буржуйки поставили, топим кроватями Амина. Через два дня лечу в Джелалабад, проводим операцию по захватам караванов. А здесь, в Кабуле, какая-то своя буза затевается. Вот и рассчитывай соотношение сил и расход снарядов. Давайте я вас по Дворцу проведу, посмотрите, как вся эта хренатень начиналась!

Они шли по этажам, коридорам, заглядывали в комнаты, и везде было пусто, мебель отсутствовала, отсутствовали гардины и люстры, дверные ручки и штепсели. Дворец был голый, раздет до нага, как труп, и на его холодном брошенном теле были видны следы насилий.

– Это кабинет Амина, – Мартынов пропускал Белосельцева в торцевую, в конце коридора, комнату, с зияющим высоким окном, в которое дул резкий морозный сквозняк и открывался незамутненный стеклом вид на окрестные горы, снега, золотистые осыпи. – Тут наши «шилки» поработали, окошко пошире хотели сделать! – Он трогал кромки оконного проема, вырезанного до кирпича скорострельными пушками. Подоконник и рамы сгорели, среди угля зеленели катышки расплавленного стекла.

– А это опочивальня, где его накрыли. Не дали, бедолаге, доспать, – он обводил спальную широким жестом, словно Белосельцев осматривал апартаменты, для того чтобы их снять под жилье, а Мартынов, владелец дома, их охотно показывал. Стены были обиты атласными обоями. На них виднелись потеки копоти, одиноко торчал штырь от снятой картины, в углу, затоптанный, в ржавчине, валялся бинт.

– А это, как говорят, ванная жены Амина. У них две ванны и два туалета! – он показывал каменную, отделанную пластиком под лазурит ванную с блестящим краном. В ванной была омерзительная зловонная жижа, на полу, раздавленный солдатскими башмаками, лежал кру-

жевной женский бюстгалтер. Белосельцев не мог долго находиться среди смрада, поторопился выйти, затворил резную дверь.

– А вот здесь бар был, бутылок стояла тьма. Здесь Амина и кокнули, очередь прошла! – Мартынов наклонился в сумеречном коридоре к стойке бара с золоченой резьбой, и Белосельцев среди узорных стеблей и листьев разглядел драные, с заусенцами отверстия. Представил, как стоял, ухватившись за стойку, смертельно раненный, в нижнем белье человек, кругом стреляли, бежали солдаты, раздавался истощный женский крик, и последнее, что он видел, был курчавый шар огня, летевший по коридору.

– Вы тут постоитте, пойду посмотрю полковника Азиса. Афганцы себе здесь оборудовали маленькую штабную каморку.

Белосельцев стоял посреди разгромленного Дворца, где в углах валялись россыпи стреляных гильз, окровавленное тряпье, колючие осколки гранат. Дворец напоминал огромный взломанный сундук, из которого, сорвав запоры, сбив петли и скобы, вылетела война. Духи войны с радостным воем вылетели из горящих окон, из проломов в стене, прянули над головами штурмующих, над подбитыми боевыми машинами, среди перекрестьев трассеров, огненных летящих снарядов. Помчались над ночным Кабулом, в разные стороны, в Гельмент, Нангархар, Лашкаргах. Усаживались на минареты Герата. Влетали в мечети Газни. Садились, как стая ворон, в кудрявые виноградники, на крыши сушилен, на кровли кишлаков. Иные из них проникли в шатры кочевников, другие в лачуги белуджей. Помчались по ущелью Пандшер, над зеркальными озерами Пактии, над красной пустыней Регистан. И там, где они появлялись, люди брались за винтовки, минировали дороги и тропы, взрывали и резали. Мирная, занятая молитвами и трудами страна начинала тлеть и дымиться, и кладбища с корявыми палками, воткнутыми в груды камней, начинали расти и шириться, принимали в сухие могилы белые коконы завернутых в ткань мертвецов.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.